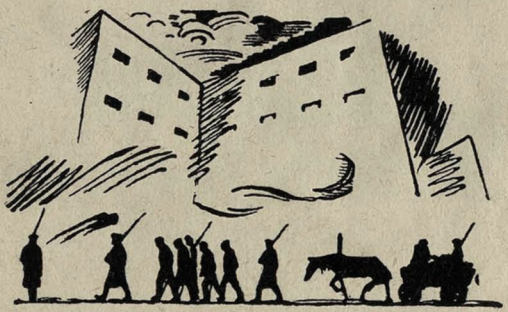
Н. Я. ДЕРКАЧ

ПО ЭТАПАМ И ТЮРЬМАМ



1 9 3 0
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ
В МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. НЕВСКОГО И П. АНАТОЛЬЕВА

Н. Я. ДЕРКАЧ

ПО ЭТАПАМ И ТЮРЬМАМ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
П. ЛЕПЕШИНСКОГО

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

Типография Изд-ва „Молодая Гвардия". Ленинград, В. О., 5 л., 28. Зак. Изд-ва № 4239. Главлит № А-68077. Тираж 5.100 экз. Печатн. лист. 3.

Посвящается моим товарищам по мальцевской каторге

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мемуарный очерк тов. Деркач «По этапам и тюрьмам», написанный просто, без искусственно подогретого пафоса и в стиле эпического пересказа выпавших на долю автора тяжких испытаний в связи с той расправой, которую учинило над своей политической пленницей царское правительство, прежде всего интересен в том отношении, что является живой иллюстрацией к цифрам, характеризующим оргию политических репрессий, с которыми обрушились третьеиюньские победители революции 1905 года на попавших в их лапы революционеров.

Если даже не считать жертв карательных экспедиций и военно-полевых судов 1906 г., то одних только смертников за три года реакции (1907 — 1909 гг.) насчитывалось свыше 5 000 человек, в том числе казненных, о смерти которых слухи проникли в печать, было более 2 000. Что же касается сосланных по суду или без суда в разные гиблые места Сибири и законопаченных в каторжные и всякие иные тюрьмы, то таких можно было бы насчитать сотни тысяч. При этом характерно, что из числа пострадавших жертв политического гонения в этот период 80% падало на лиц «низших» сословий и профессий, т. е. крестьян, рабочих, солдат и т. п. категорий населения.

Одним словом, великая, грандиозная, массовая революция отобразила свой массово-демократический характер и в статистике жертв репрессий.

Этому небывалому размаху деятельности царской юстиции в полной мере соответствовали и «сдвиги» в практике тюремного режима. Жизнь и здоровье политического пленника в полной мере зависели от произвола местного тюремного самодура. В зависимости

от своего настроения он мог бросить беззащитную жертву своего административного каприза в карцер на съедение крысам и мышам или отдать пленника на предмет всяческого издевательства и насилия какому-нибудь человеку-зверю из породы тюремных надзирателей (причем женщины всегда могли ожидать для себя гнуснейшего насильнического акта со стороны того или иного похотливого мерзавца); он был властен над жизнью и смертью, а также и над человеческим достоинством заключенного, по отношению к которому в каторжных тюрьмах всегда могло быть применено позорное наказание розгами, независимо от того, является ли «провинившийся» (например, не поспешивший снять предупредительно шапку перед начальством) уголовным или политическим каторжанином.

Когда читаешь грустную повесть тюремных и этапных мытарств тов. Деркач, все время испытываешь смену настроений: нервы то болезненно реагируют на рисуемые автором ужасы тюремного ада, то на душе становится несколько легче. И это в значительной мере зависит от того, попала ли несчастная пленница в такое злачное место, где хозяйничает тюремщик-зверь, тюремщик-палач, делающий себе карьеру на «подтягивании» режима в политических камерах подведомственной ему тюрьмы, или же в более «благополучную» обитель, где разжиревший начальник дослуживает свою пенсию и старается избавить себя от излишних конфликтов с колючей и несговорчивой политической «богемой».

Для нынешней рабочей молодежи, имеющей очень слабое представление о проявлениях белого царского террора, особенно в мрачные годы реакции послереволюционного периода (во времена так называемой столыпинщины), очерк тюремно-каторжного режима для политических пленников, набросанный бесхитростным пером тов. Деркач по личным воспоминаниям, представит несомненный интерес.

П. Лепешинский.

АВТОБИОГРАФИЯ

Родилась я в декабре 1883 года в местечке Снитовке, Летичевского уезда бывш. Каменец-Подольской губернии.

Местечко наше — большая деревня. Еврейских семей около сотни, а крестьянских дворов несколько сот.

В деревне жили мы с матерью, отец служил в городе. Кроме меня, у родителей было еще пять человек детей.

Наша семья была ортодоксальной еврейской семьей. Впрочем, служа в больших городах, отец уже приобрел некоторые черты иной культуры. Мать же, несмотря на то, что ей приходилось возиться с такой большой семьей, находила время читать. И первая внушила мне любовь к чтению.

Родители находили, что учить нужно только мальчиков, а девочке достаточно уметь записать расход да иногда прочесть для развлечения какую-нибудь книжку.

Когда мне минуло пять лет, меня с братом отдали в «хедер». Там я училась до 11 лет, пока не произошла некоторая перемена. В те годы евреи уже находили, что детей нужно учить не только по-еврейски, но и по-русски. Но, чтобы детям не пришлось писать в субботу, их в русскую школу не отдавали, а нанимали еврейского учителя, знающего русский язык, и поручали ему обучение. Я стала просить, чтобы и меня отдали к такому учителю, но родители не хотели. Решив во что бы то ни стало добиться желаемого, я в один прекрасный день сбежала из своего «хедера» к учителю. Несмотря на все его уговоры вернуться домой, так как без согласия родителей он не может меня принять в свой класс, я осталась в школе на целый день. Вечером я твердо заявила родителям, что, если они не отдадут меня учиться по-русски, я совсем сбегу из дома. Волей-не-

волей им пришлось согласиться. В школе мы занимались русским языком, немножко арифметикой, а кроме того, изучали библию и пророков.

По окончании этой школы я стала готовиться в гимназию. К моему счастью, в местечко приехал на каникулы семинарист Анатолий Мачковский, сын снитовского дьякона, который стал со мной заниматься. Правда, он был не очень развит, как я теперь понимаю, но тогда он мне открыл совершенно новый мир.

Я много читала, правда, без разбора и, кажется, ничего путного не попадалось. Но однажды случайно прочла я книжку какого-то черносотенного автора о народовольцах. Эффект получился обратный. Вместо того, чтобы вызвать ужас перед «убийцами», как их называл автор, книжка возбудила во мне сильное желание встретить таких героических людей в жизни, узнать, за что и как они боролись.

Возле нашего местечка находилось большое имение богатого помещика Потоцкого. В громадном дворце, окруженном большим фруктовым садом, с массой слуг, люди жили в вечном празднике. Крестьяне за глаза ругали их, но при встречах низко кланялись и целовали руку. Нас же считали хорошими людьми и все же называли жидами и жиденятами, не понимая, что это нас обижало. И с годами все крепче западала мысль, почему у одних жизнь складывается хорошо, а у других плохо.

Мой отец служил на железнодорожной станции в лесном предприятии. Приезжая домой, он рассказывал матери, что в городах есть какие-то люди, так называемые социалисты, которые не хотят царя, что среди них есть рабочие, студенты, гимназисты, даже дети богатых родителей. Однажды я спросила, что значит: «социалисты»? Отец мне ответил, что я еще мала и все равно ничего не пойму. Я думаю, что он и сам плохо понимал, что это значит.

Когда мне минуло тринадцать лет, отец решил перевезти семью в город, где служил, так как трудно было

жить на два дома. С тех пор мы начали кочевать. Куда переводили отца, туда переезжала и наша семья. Я не бросала занятий.

В 1901 году мы очутились в Брянске. Тут я стала подрабатывать частными уроками, надеясь скопить немного денег, вырваться в большой город и поступить в гимназию. Там же, в Брянске я познакомилась с одним рабочим социалдемократом Иваном Васильевичем Егоровым, который был выслан из Петербурга. Это был мой первый учитель по социализму. Он снабжал меня литературой, объяснял то, что было непонятно. Правда, кроме социалдемократических прокламаций да эсэровских брошюр, у него ничего не было: «Липочка-поповна», «Хитрая механика», «Пауки и мухи» и т. п.

Ненависть к существующему строю и любовь к угнетенным разбудил во мне мой первый учитель. Неосознанная, она, как видно, жила давно во мне. Стремление к иной жизни, более полной и яркой, было во мне еще в раннем детстве, но как добиться этого, я раньше не знала. Теперь дорожка была указана, а широкий путь проторивать нужно было самой.

Тов. Егоров познакомил меня с другими революционерами рабочими. Из них особенно помню Александра Игнатовича Дроздова, который окончил учительскую семинарию и пошел в депо учеником, а потом стал квалифицированным слесарем.

Живы ли еще эти первые мои товарищи?

У нас создался небольшой кружок самообразования. Казалось, работа наладилась хорошо. Но в 1902 году, перед Первым Мая, Егоров был арестован. Кружок стал распадаться. Скоро был арестован и Дроздов. Мне пришлось уехать из Брянска, чтобы избежать ареста.

Я поехала в Киев. Там сдала экзамен за семь классов. Начала работать с социалдемократами. В то время я еще не понимала разницы между меньшевиками и большевиками: для меня существовали только социалдемократы. Читала социалдемократическую литературу и эсэровскую. Понимала, что с эсэрами мне не по пути;

зная крестьянство с детства, я не могла смотреть на него как на авангард будущей революции, но я восхищалась геройскими подвигами эсэров, террористическими актами. Перед некоторыми членами эсэровской боевой дружины я преклонялась как перед героями.

В это время я уже серьезно начала заниматься, слушала в университете лекции проф. Железнова, читала Каутского, Плеханова и стала работать в рабочих и ученических кружках. Я поступила на акушерские курсы и вела пропаганду среди своих соучениц. Часто киевская организация социалдемократов устраивала дискуссии, но я не помню случая, чтобы была дискуссия между большевиками и меньшевиками. Помню, в 1904 году меньшевистская организация устроила грандиозную дискуссию (слушателей было около 200 человек) с бундовцами. Докладчиком был Мартов, оппонентами два студента-бундовца — Золотарев и Иоффе.

В 1903 году я уже считалась членом партии с.-д. Жили мы — несколько товарищей — коммуной на Малой Васильковской. Среди нас был один большевик — Михаил, но споров у нас никогда не бывало. Приходили с явками к Михаилу, приходили к Жене Берзиной (с.-д., меньшевичка) и к другим товарищам. Каждый был занят по горло. Мы жили этой работой, мы горели в ней. Ни у кого не возникала мысль, что кто-то из нас ошибается. Мы считались с.-д., и этого было достаточно для нас.

Так прожила я в Киеве, работая и учась, до 1905 года. На Дальнем Востоке русская армия терпела поражение за поражением. Черносотенные газеты умалчивали о многом, что там творилось, но те, кто хоть мало-мальски разбирался в политике, понимали, что на Дальнем Востоке происходит что-то неладное. Газета «Киевлянин» била тревогу о спасении отечества. Либеральные газеты высмеивали дальневосточные авантюры. Все вместе взятое волновало общество, вызывая разные мнения и споры. Волновался не только город, волновалась и деревня. Новобранцы (мобилизованные солдаты) устра-

ивали скандалы в деревнях и на железнодорожных станциях, разбивали «монополъки». Союз истинно-русских людей, желая спасти положение, наводнил города и деревни своими листовками. В противовес социалистическим прокламациям, «истинно-русские люди» призывались освободить отечество от социалистов и жидов. Социалисты выявляли физиономию русского правительства, разоблачали дальневосточную авантюру, призывали к свержению самодержавия. Мы занимались агитацией среди новобранцев, проникая на сборные пункты, раздавая там листовки и призывая не подчиняться начальству. Правда, мы рисковали не только арестом, но и избиением. Помню, однажды товарищ Ксенофонт (социалдемократ) беседовал с новобранцами, а я раздавала прокламации. Вдруг подскочил какой-то подозрительный тип и стал натравливать на нас толпу. Новобранцы чуть его не разорвали, и он поспешил ретироваться.

Атмосфера была напряженная. Казалось, достаточно малейшей искры, чтобы вспыхнул пожар. Но в июне 1905 года еще не наступил момент для всенародного восстания, — он только подготовлялся. С одной стороны, волновался народ в связи с войной и дороговизной жизни, с другой — в страшнейшем волнении, в ожидании погрома, жило еврейское население, зная прекрасно способы борьбы русского царизма с народным возмущением.

Революционная молодежь организовала самооборону, чтобы всякую минуту быть готовыми оказать вооруженное сопротивление в случае нападения на евреев.

20 июня прибежал ко мне товарищ с сообщением, что на Подоле начался погром и что решено меня отправить туда для разведки. Я поехала. Там, вместо погрома, я застала возникшую стихийно демонстрацию. Большинство демонстрантов составляли новобранцы, к которым присоединилось небольшое число рабочих. Я присоединилась к ним. Руководства демонстрацией не было. Какие-то неизвестные рабочие подняли меня на руки, и я

обратилась к ним с речью. Потом выступили еще два-три товарища, после чего с пением Марсельезы и возгласами «Долой самодержавие!» мы двинулись дальше по городу. Здесь на нас налетели казаки и полиция, демонстранты мигом рассыпались. Меня схватил шпик. Я попробовала от него отбиться, рассчитывая на помощь товарищей, но вместо товарищей подскочил казак с нагайкой. Он замахнулся, пересек мне переносицу, и только поля шляпы спасли глаза. Кровь залила все лицо, я ничего не видела. Шпики связали меня и бросили на дрожки.

Мы подъехали к полицейскому участку. Здесь меня сбросили с дрожек и потащили по мостовой. Проходившие мимо женщины, увидя кровь на мостовой, стали креститься и кричать: «Боже ты мой, за что же так избивают народ!» — их тут же арестовали и посадили вместе со мной. Меня били железным кистенем по голове, по лицу, выбили четыре зуба, бросили на пол, топтали сапогами. У меня на теле оказалось девятнадцать ран. Избиение прекратилось, когда я потеряла сознание. Кроме меня, на демонстрации был арестован один новобранец-крестьянин, которому выбили глаз.

В городе носились слухи, что я убита, но, несмотря на то, что врач ко мне приглашен не был, молодой организм одолел побои. Через неделю меня перевезли в Лукьяновскую тюрьму.

На воле, среди напряженной, горячей работы некогда было разбираться в теоретических вопросах. Правы большевики или меньшевики? Я даже не ставила перед собой этого вопроса. Той пропасти, которая возникла впоследствии, тогда не было. Никто из нас не думал, что настанет момент, когда меньшевик станет синонимом контрреволюционера.

Избиения, готовящиеся погромы, издевательства заставили меня задуматься над своей прошлой революционной работой. Как отмстить власть имущим, как бороться с ними? — ставила я перед собой вопрос и мучительно переживала перелом, который начался во мне.

Путь агитации, пропаганды, путь длительный, а враг пока ликует. Я избита, искалечена, возможно, что недолго проживу. Чем я отомщу за себя и за других?

В этот период в киевской тюрьме сидела известная анархистка Ольга Малицкая. Беседы с ней нашли благоприятную почву, ее горячая пропаганда анархистских идей подошла к моему настроению. Эти идеи отчасти совпадали с теми мыслями, которые бродили в моей голове, и я заявила ей, что я анархистка.

Вышла я на волю за несколько дней до октябрьской амнистии 1905 года, меня выпустили под залог.

Когда меня привезли из тюрьмы в жандармское управление для освобождения, у ротмистра Иванова, который вел мое дело, хватило наглости протянуть мне руку. У меня было ощущение, что ко мне приближается спрут, чтобы схватить меня своими щупальцами. Я стремительно спрятала руки и повернулась к нему спиной.

Этот же ротмистр, разрешив моим родителям свидание со мной, предложил им выпытать, кто мои товарищи, и сообщить ему, за что он обещал меня освободить. Он же сообщил моим родителям, конечно, ложно, что я смертельно больна после избиения, но отец сообразил, в чем дело. Придя на свидание, он прежде всего шепнул мне на ухо, чтобы я никого не называла по имени.

Когда меня выпускали из тюрьмы, ротмистр предупредил отца: «Увезите вашу дочь сейчас же отсюда, не то через несколько дней она опять будет у нас».

Он не ошибся. Приехав к родителям в Унечу, я успела прожить у них всего несколько дней. Один местный обыватель, имевший связь с полицией, сообщил мне, что есть распоряжение о моем аресте за выступление на митинге. Хотя я переоделась в мужской костюм и митинг происходил вечером, все же по голосу меня узнали. Пришлось бежать из уезда. Железные дороги тогда бастовали. Я пешком отправилась в ближайший город — Стародуб (30—35 верст от Унечи). Провожал меня один товарищ из местных рабочих.

На второй день моего появления в Стародубе бундовцы организовали грандиозную демонстрацию по поводу дарованной царем конституции. В этот же день происходили похороны одного товарища рабочего. Демонстрация прошла мирно, полиция совершенно не показывалась. В демонстрации принимал участие весь город, особенно много было евреев, ожидавших чего-то от николаевской конституции.

Демонстранты направились к тюрьме, требуя освобождения политических, которых там было немного. Нам обещали освободить всех товарищей.

На другой день начали циркулировать упорные слухи, что готовится погром, и даже точно указывали, что он начнется в воскресенье.

Организация стала готовиться к самообороне. Оружия не хватало. Местные купцы-евреи отказывались снабдить нас оружием, за что они впоследствии поплатились. Банды разбили их магазины и, захватив оружие, пошли громить евреев. Погром начался в воскресенье, в 12 часов дня, продолжался весь день и всю ночь. На следующий день самооборона бежала, в ней больше не нуждались, город был наполовину разрушен. Человеческих жертв было немного. И теперь еще жутко вспомнить картину погрома, кровь стынет в жилах...

Я опять вернулась в Унечу к моим родителям. Оказалось, и там успели устроить евреям кровопускание. Евреи были так напуганы, что боялись, как бы мой приезд в Унечу не вызвал нового погрома. Ко мне явилась депутация, упрашивая меня уехать, предлагая деньги для революционной организации. Я не приняла их предложения. Я чувствовала себя усталой, разбитой после погрома, мне необходимо было отдохнуть хоть несколько дней, тем более, что я была контужена в ногу.

Нашли другой способ избавиться от меня: решили объявить бойкот моим родителям и не продавать им съестных припасов. Два товарища из Стародубской организации — Яков Шумяцкий и другой, фамилии которого не помню — явились к унеченскому раввину и

потребовали, чтобы бойкот с моих родителей был снят, заявив, что за мою жизнь отвечает раввин. Если что-либо случится со мной, ему придется иметь дело с организацией.

Плохой у меня был отдых в Унече. На улицу я выходила с оружием и двумя вооруженными товарищами.

Из Унечи я уехала в Киев. Здесь была случайно арестована. Не разобрав, кто я, меня освободили. Надо было, пока не поздно, уезжать во избежание ареста. Я получила явку в Одессу и уехала.

В Одессу я попала после разгрома анархистской организации. Большинство товарищей сидело в тюрьме — в ожидании кто смертной казни, кто долгосрочной каторги. Пришлось напрячь все силы и вновь работать в пропагандистских кружках, выступать на фабриках, заниматься агитацией в порту, работать в лаборатории бомб, захватывать типографии для печатания наших листовок и совершать экспроприации, так как средств не имелось, а деньги были остро нужны для приобретения оружия, литературы и т. п. Словом, каждый из нас делал тысячу дел.

Анархистская организация не имела прочных корней в местном населении. Фабричных рабочих почти не было, опирались главным образом на ремесленников и портовых рабочих. Большинство одесских анархистов составляли приезжие и в частности — белосточане.

Это были прекрасные боевые товарищи, рабочие, в общем мало подготовленные теоретически, но зато готовые отдать свою жизнь революции. Правда, одиночки из них были хорошо теоретически подкованы, как, например, тов. Самуил — рабочий кожевник. Это был апостол анархизма. Он случайно погиб в Екатеринославе: какой-то черносотенец подстрелил его на улице как еврея.

Из одесской же группы «Стрига Лапидус» — крупный анархист, прекрасный пропагандист и оратор, преданный и честный товарищ — трагически погиб в Париже во время преследования его полицией в Булон-

ском лесу: в кармане у него взорвалась бомба, разорвавшая его на мелкие куски.

15 марта 1906 года я была арестована за экспроприацию и вооруженное сопротивление и, хотя не была захвачена на месте преступления, все же 8 мая была приговорена к смертной казни через повешение. Через 3 месяца смертная казнь была заменена бессрочной каторгой.

На каторге я пробыла шесть лет и имела полную возможность на досуге произвести переоценку моих убеждений. Мне стало ясно, что захватившие меня яркие формы анархической борьбы меня не удовлетворяют, что, опираясь только на группы самоотверженной молодежи, нельзя сдвинуть с мертвой точки существующий строй. Пыл молодости у меня прошел и, логически рассуждая, я пришла к убеждению, что новая жизнь может быть завоевана только при помощи единственного класса, способного к борьбе, — класса пролетариата.

В 1912 году я очутилась за границей, в Женеве. Там я официально вышла из группы анархистов. Я считала себя социалдемократкой-интернационалисткой, но формально в партию не вступала. Моя жизнь сложилась так, что борьба за существование отняла у меня все силы.

Революционная работа за границей не отвечала моим запросам; на большую же подпольную работу в России я не в состоянии была пойти, вследствие надломленного здоровья, избиений, каторги, тюрьмы. Я побывала в Швейцарии, Германии, Франции, Канаде и Соединенных Штатах, но нигде не находила себе места — везде был холод, голод и огромная тоска по России.

В Россию я вернулась в 1917 году, сразу после Февральской революции. Попала я в гор. Клинцы, тогда Гомельской губернии. Там я вступила в партию меньшевиков, объединенных с интернационалистами. Вначале я мало разбиралась в российской действительности, и все же я, тов. Смолянский и еще два товарища составляли левое крыло Клинцовской организации. Мы с большим недоверием относились к Временному правительству,

стояли за прекращение войны, были против аннексий и контрибуций. Мы были уже близки к большевикам.

Скоро меня вызвали в Забайкальскую область на работу.

Октябрьский переворот застал меня в дороге. Ясного представления о том, что произошло, ни у меня и ни у кого из находящихся в поезде не было. Смутно знали по слухам, что в Петрограде большевистский переворот. Воинские эшелоны встречались на всех станциях, но никто не знал, куда они направляются, и они сами этого не знали. Матросы ругали Временное правительство, звали на помощь Советам. Железнодорожное начальство трусливо поддакивало то одним, то другим, не зная, кому подчиняться. Стоял такой сумбур, что трудно было понять, кто чего хочет.

С большим трудом добралась я до Читы. Здесь царили еще прежние тишина и спокойствие. На вокзале встретила меня подруга большевичка Тамара Таумин [1] и сообщила, что еще не решен вопрос, когда читинские большевики возьмут власть в руки, что они боятся не справиться, что эсэры и меньшевики даже предлагали уступить власть большевикам.

Через несколько дней я пошла на работу в качестве заведующей детским домом. Тамара Таумин держала меня в курсе всех дел. Ее мучила мысль о том, что я не в рядах большевиков, я же мучилась непониманием момента. Я не могла примириться с Брестским миром. Мне казалось, что большевики предали революцию, но в то же время и программа меньшевиков-интернационалистов меня не удовлетворяла.

В январе власть перешла к большевикам. Интернационалисты начали с ними работать, а я стояла в стороне... Я решила уехать работать в районе. Получила назначение на работу инструктора по внешкольному образованию и заведующей районной библиотекой. Но работа не ладилась, население было возбуждено. Зато я полу-

[1] Тамара Таумин погибла в 1918 году от рук семеновских бандитов.

чила возможность хорошенько подумать над тем, что совершалось, и решила, что могла бы пойти с большевиками, если бы не Брестский мир. Жду, что будет дальше.

В сентябре 1918 года пала советская власть. Я сразу уехала в Читу. Там я застала сплошной кошмар: разгул воещины, измена эсэров и меньшевиков, казни без суда. Многих близких своих товарищей я уже не застала в живых. Люди просто исчезали, а потом находили их трупы. Царем и богом в Чите был знаменитый атаман Семенов. Он не расстреливал своих противников, а замучивал их.

Здесь я почувствовала, что по ту сторону баррикад я не могу оставаться, с большевиками — рабочий класс, с ними должна быть и я. Оставаться вне политики я больше не могла. Я достаточно пережила, перемучилась раньше, чем пришла к этому выводу. Сделалось ясно: меньшевики давно стали врагами рабочих и крестьян.

Я сразу ушла в большевистское подполье. Проработав некоторое время на ст. Оловянной, я бежала оттуда. Опасно было оставаться — там начались убийства. Недалеко от Оловянной находилась знаменитая Макавеева, куда со всех концов Сибири отправляли большевиков и сочувствующих им, и там палачи Семенова расправлялись с ними. Начиная с Макавеевой до Манчжурии все было залито рабочей кровью и месяцами валялись трупы.

После Оловянной, я была назначена отделом народного образования учительницей в село Татаурово, Читинского уезда. Там я вместе с заведующей школой Александрой Кондратьевной Червинской [1] вела работу среди крестьян, держа связь с партизанами, скрывавшимися в лесах. Деревня в большинстве своем была настроена по-большевистски. Против нас были только несколько крестьян и поп. Партизаны ближайших дере-

[1] Александра Кондратьевна Червинская, беспартийная, вместе с мужем были замучены в 1920 году семеновскими бандами

вень и часть партизан Татауровских заняли село, но продержались они только два дня. Японцы и семеновцы прогнали их. После этого поп и враждебно настроенные крестьяне выдали 25 человек. Их вывели на речку и расстреляли.

В марте пятая армия заняла часть Забайкальской области. К ним примкнули наши партизаны.

Я тогда уже открыто выступала как большевичка. 15 апреля 1920 года произошел прорыв на нашем фронте. Началось хаотическое отступление. Первые дни пришлось отступать форсированным маршем — белые шли по пятам. В течение месяца я шла с Красной армией. 15 мая 1920 года я попала в советскую зону на станции Хилок. В Хилке были товарищи, которые меня знали как старую революционерку. В тот же день, т. е. 15 мая, я вступила в ряды ВКП(б), тогда РКП.

Большой путь пришлось мне пройти раньше, чем я нашла истинную дорогу к социализму. Моя эволюция зависела от целого ряда причин внешней жизни, условий и, конечно, моей психологии.

Я не раскаиваюсь. Каждый из нас, старых революционеров, давал то, что в силах был дать, и сыграл ту роль в борьбе за рабочее дело, на какую был способен. Наша теперешняя молодежь имеет все возможности продолжать начатое нами дело под руководством нашей единой коммунистической партии, не сходя с марксистской ленинской линии.

Н. Деркач

ПО ЭТАПАМ И ТЮРЬМАМ

Глава первая

АРЕСТ.—ОДЕССКАЯ ТЮРЬМА.—ПРИГОВОР

15 марта 1906 года я была арестована в Одессе по обвинению в принадлежности к организации анархистов. При аресте я оказала вооруженное сопротивление, и мне грозила смертная казнь. Судебная расправа назначена была на 27 апреля, но в этот день состоялось открытие Первой государственной думы. Одесские судьи нашли для себя невозможным ознаменовать этот день смертным приговором, и суд был отложен. Мои родители, с которыми я уже давно порвала связь, так как они требовали от меня бросить революционную работу, узнав из газет о моем аресте и о грозящей мне участи, приехали в Одессу, чтобы добиться свидания. Оно им было разрешено и происходило в дежурной комнате женского корпуса.

Отец и мать думали и говорили только об одном: пусть будет каторга, пусть будут мучения, только бы я избежала смерти.

Я их успокаивала, уверяя, что ничего ужасного не будет, что следствие еще ведется, что все обвинения против меня основаны на шпионских показаниях и т. д. Мне очень хотелось, чтобы родные уехали и не присутствовали на суде, где они, несомненно, проявили бы слабость. Случай мне помог. Суд отложили, и никто не знал, когда дело вновь будет назначено к слушанию. В это же время родители получили телеграмму об аресте младшего брата по эсэровскому делу, и им пришлось предпринять путешествие в другую тюрьму.

Судили меня 8 мая, я была приговорена к смертной казни через повешение. Защитники сообщили в телеграмме родным, что я получила 12 лет каторги. Отец и

мать жили тогда в маленьком городке Унече, быв. Черниговской губернии, где их все знали. На второй день после суда, когда они пришли на почту получать газеты, начальник почты, первый в местечке узнавший из газет о моем приговоре, решил газеты не выдать, солгал родным, что в тот день газеты не получились. Но одна крестьянка, которая знала меня и мою семью, услыхав о приговоре от тов. Тимошенко (с.-д.), прибежала к моей матери и заголосила: «Милая ты моя, сиротинушка, доченьку-то твою повесили».

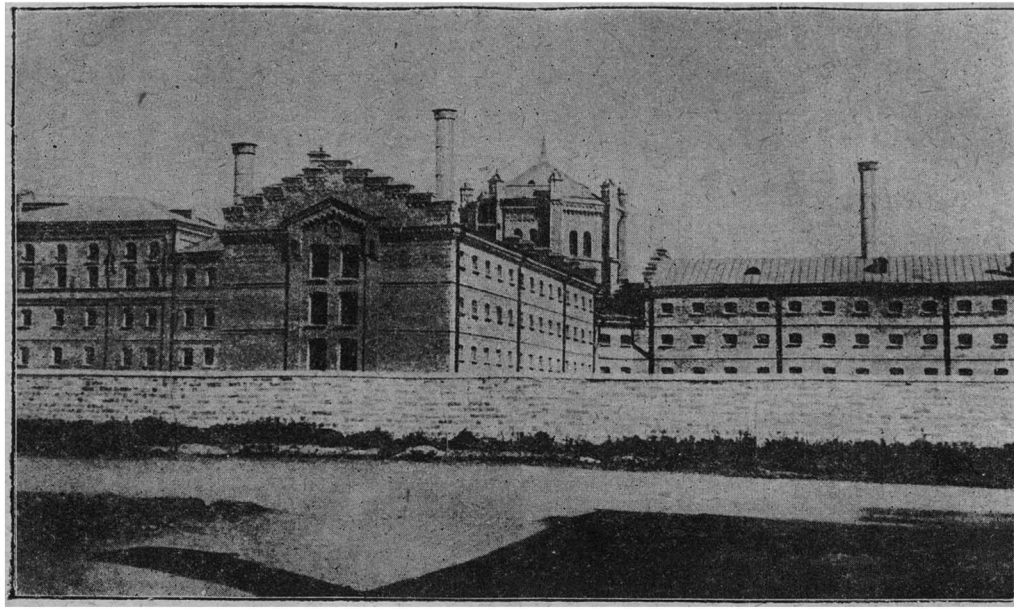
Потрясенная, полуживая от ужаса, мать приехала в Одессу, надеясь в последний раз увидеть меня.

Опять свидание, тяжелое для меня и невыразимо скорбное для матери, — жуткая встреча перед виселицей. Брат молча, по-детски растерянно смотрит на меня, а мать целует мои руки, лицо, глаза, голову, слова не выдавливаются, только слезы ручьем льются из глаз. Посетители кругом плачут, надзирательница тихонько вытирает глаза, я чувствую себя окаменевшей, опустошенной и больно только за страдания матери. Одна мысль сверлит голову: хорошо, если бы мать уехала домой, не дождавшись конца... Но предстояла еще встреча с отцом. Через два дня он приехал, это было второе тяжелое свидание. Мне все же удалось убедить родителей, что опасность миновала, и они уехали.

Приведение приговора в исполнение оттягивали, и наконец 27 августа смертная казнь была мне заменена бессрочной каторгой.

Одесская тюрьма в начале 1906 года производила впечатление не тюрьмы, а гостиницы. Это было утро либерализма. Тогда Россия готовилась к созыву Первой государственной думы, и на местах и даже в центре не знали, как относиться к политическим арестам. Начальник одесской тюрьмы Парфенов либеральничал настолько, насколько может либеральничать всякий тюремщик, не зная, кому принадлежит завтрашний день.

Мы имели ряд привилегий, пользовались прогулкой два раза в день, переходили из камеры в камеру, по-



Одесская тюрьма.

лучали свидания два раза в неделю без ограничения числа посетителей. Записки передавались чуть ли не на глазах у тюремной администрации, свидания были личные, в присутствии помощницы начальника тюрьмы, «красной пелерины», как мы ее называли. Светская дама, любящая музыку, она нас не притесняла. Также не притесняла нас старшая надзирательница м-ль Ясинская (слышала, что она теперь работает где-то в Одессе не то в женотделе, не то в охрмладе). Были у нас два раза в неделю свидания с товарищами из мужского корпуса, словом, не тюрьма, а дом отдыха.

По внешнему виду и по манере обращаться с окружающими, надзирательнице Ясинской больше подходило быть воспитательницей института благородных девиц. Властная по натуре, она сумела так себя поставить в тюрьме, что вся администрация относилась к ней с уважением. К самой политике она была безразлична, но некоторым политическим с громким именем симпатизировала. Рядовых политических она не ставила ни в грош, преклоняясь перед сильными и придушая слабых. Она боготворила Ольгу Таратуто и сыграла не малую роль в ее побеге. Администрация подозревала ее в содействии побегу, но улик не было, и она осталась служить в Одесской тюрьме до революции 1917 года.

Мы прекрасно понимали, что тюремные привилегии не долговечны, что черные тучи реакции надвигаются, что, независимо от режима, многим и многим не миновать виселицы, каторги и долгих годов тюрьмы.

3 мая был вынесен смертный приговор Кате Эрделевской за вооруженное сопротивление при аресте; 8 мая — мне за экспроприацию и вооруженное сопротивление при аресте; затем Поле Шакерман, бросившей бомбу в наряд полиции. Смертные приговоры не прекращались, но тюремный режим все же не менялся. С нами были вежливы и корректны. Мы, смертники, вели принципиальные споры, как поступить в целях агитации — покончить с собой до казни или итти на казнь. Споры эти продолжались до казни Израиля Покотилова, судив-

шегося за убийство директора фабрики, зверски обращавшегося с рабочими. Когда вечером вызвали И. Покотилова в контору, он понял, что его ночью казнят, и принял морфий. Все же его, полумертвого, потащили к эшафоту и повесили.

После первой казни тюрьма начала жить более лихорадочно. Такая же участь ожидала еще многих. Между тем среди властей в тюрьме и на воле была полная растерянность; крамола была всюду и росла с каждым днем. Жандармы не знали, кого брать и кого не брать, дух крамолы им чудился во всяком живом человеке. Привели к нам «революционерку», которая не ела «трефное», и она два или три дня питалась одним хлебом и чаем, пока мать не принесла ей пищу и посуду. Была также арестована в этот период 16-летняя девочка Табачникова только потому, что Катя Эрделевская в поисках комнаты зашла в квартиру Табачниковых, где была наклейка на окне о сдаче комнаты. Из-за этой девочки тюрьма объявила голодовку, требуя ее освобождения, как совершенно ни к чему не причастной и страдавшей к тому же эпилепсией. После четырехдневной голодовки Табачникова была освобождена.

С серьезными «преступниками» быстро расправлялись, но зато «шпану» мариновали месяцами и даже годами.

8 июля Первая государственная дума окончила существование. Реакция начала неистовствовать. Революционеры также не молчали. Террористические акты все увеличивались, удлиняя список смертников.

Вновь был арестован бежавший два месяца тому назад из одесской тюрьмы Лев Тарло. При аресте этот 19-летний юноша героически сопротивлялся, но был тяжело ранен и арестован.

Лева Тарло, сын богатых родителей, рано ушел в революционное движение. При близком знакомстве с ним на работе, я убедилась в большой его искренности и преданности революции. Не было такого дела, от которого Лева отказался бы. Писать ли листовки, готовить

ли адские машины, — Лева шел на все. Он был участником подготовки взрыва одесского жандармского управления, окончившегося неудачно вследствие ошибки в вычислении, отчего адская машина разорвалась на час раньше прихода жандармского начальства. Первый раз его арестовали не то по провокации, не то по агентурным сведениям. При аресте у него нашли динамит и ему грозила каторга. Горячий и энергичный, он немедленно решил бежать. После первого же свидания он, смешавшись с посетителями, направился к тюремному выходу, вышел неузнанным за ограду и скрылся. Лева уехал на короткое время за границу, но его потянуло обратно на работу, и вскоре он вернулся в Одессу. Спустя короткое время полиция узнала его на улице и хотела задержать, но Лева начал отстреливаться. За ним погнались городовые, дворники и проходящий офицер. Лева до тех пор отстреливался, пока не был сам тяжело ранен, тогда его схватили и сразу отвели в тюрьму.

Через 48 часов его казнили во дворе женского корпуса. Был яркий солнечный день 7 сентября.

Чтобы отвлечь наше внимание от предстоящей казни, надзирательница заявила нам, что ждут начальства и потому наша прогулка откладывается до вечера. Мы поверили, ибо не могли себе представить, что сейчас могут казнить полумертвого человека, изрешеченного пулями и изрезанного шашками.

В 12 часов вдруг раздался истерический крик и барабанный бой... Мы поняли... Многие из нас, схватив медные кружки, чайники, все, что попалось под руку, начали стучать в двери. Поднялся неописуемый стук и крик, казалось, что тюремные камеры превратились в ад. Крики с улицы, барабанный бой, выстрелы залпами, — все слилось в один дикий гул. Никто из администрации к нам не явился, лишь слышно было, как надзирательницы бегали по коридору.

Как мы потом узнали, Тарло понесли на казнь в кресле. Около столба ему прочли смертный приговор. Прокурор обратился к нему с вопросом, желает ли при-

говоренный получить последнее слово. На грани смерти Тарло нашел в своей душе сильные и гордые слова: — «Мое последнее слово палачам: бомб и патронов хватит еще для вас».

Палачи подвергли его ужасу длительного ожидания смерти — два раза давали по нем холостые залпы и лишь третьим залпом убили. Его закопали тут же на месте. Нам сказали, что ночью тело было увезено, но это оказалось ложью. В 1927 году один из бывших надзирателей сообщил в Одесский совет, что какой-то политический закопан под столбом во дворе женского корпуса. Это был Тарло. Прах его перевезли и похоронили в братской могиле.

С казни тюремщики возвращались смущенные; они, как видно, чувствовали, что совершили черное дело. Уголовные из своих окон встретили их криками: «палачи», «убийцы». Политические молчали: не хватало слов, которые можно было бы бросить мясникам, только-что обагрившим свои руки в крови. Начальник тюрьмы Парфенов говорил потом, что больше он не позволит производить казни в своей тюрьме.

Кате Эрделевской заменили смертную казнь 20 годами каторги, Поле Шакерман — бессрочной, я же ждала каждую ночь, что за мной придут. Меня охватило безразличное состояние, ибо не было никакой надежды уйти из когтей смерти. Жизненные силы казались исчерпанными, все необходимое было написано и передано товарищам на волю. Невесело было на воле. Революция шла на убыль, революционеры массами погибали на виселицах, в тюрьмах, в страшных схватках с полицией и жандармами. Всюду и везде царили разгул и смерть.

В нашей тюрьме уже девять месяцев ожидали казни Шерешевская, Мец, Бронштейн (Беленький), Ольга Таратуто и Станислав Шашек — за антибуржуазный безмотивный террор: среди дня они бросили бомбы в переполненное буржуазной публикой кафе Либмана. С акта им удалось уйти, но вскоре всех арестовали. Шерешевская и Беленький были тяжело ранены.

Бейля Шерешевская, дочь зажиточных родителей, была настоящей пролетаркой. Во имя революции, за идею анархизма она смело шла на самые отчаянные предприятия. В этой маленькой, немножко сутуловатой девушке с мягкой улыбкой трудно было, не зная ее близко, представить себе человека с огромной энергией и колоссальной силой воли, какой она была в действительности. Тяжело раненная во время акта в живот, она ни разу не застонала и не пожаловалась. Смертную казнь Шерешевская приняла так же стойко, как шла на противобуржуазный акт.

Адвокаты решили использовать тяжелое состояние товарищей и оттянуть срок суда, думая, что это будет способствовать смягчению приговора. Но они ошиблись: чем дальше, тем все темнее становилось в России. Хлопоты виднейших адвокатов и общественных деятелей (либералов) о переводе Шерешевской в городскую больницу на операцию не увенчались успехом. Ее оперировали в тюремной камере, из живота вынули осколки. Понемногу Шерешевская стала поправляться. Поправились также Мец и Беленький; Мец, хотя на костылях, но все-таки начал уже выходить на прогулку. Наконец наступил день, когда они были признаны здоровыми, и их, фактически еще больных, повезли на суд. Все трое были приговорены к смертной казни через повешение. Таратуто и Шашек получили по 17 лет каторги, как соучастники. Адвокаты ждали, что Каульбарс заменит смертную казнь каторгой. И мы ждали.

Однажды, в октябре, когда мы были на вечерней прогулке, надзиратель вызвал Шерешевскую в контору. Мы все бросились к ней, предчувствуя что-то неладное, но она со смехом сказала нам, что к ней приехала сестра из Белостока на свидание. Все же мы насторожились. Прошел час. Шерочки не было. Надзирательницы стали нас звать в камеры, но мы не поднялись. Удивительно, как только должна была произойти чья-нибудь казнь, тюремная администрация становилась очень осторожной с нами, избегая столкновений.

Уже темнело. Со двора, где мы гуляли, видны были окна Меца и Беленького. Мы условились раньше, что у них на окне должно висеть полотенце, в знак того, что все благополучно. Полотенца не было, жуткий признак, значит, сегодня казнь. В тяжелом молчании мы разошлись по камерам. Наступила гробовая тишина. Вдруг вошла надзирательница м-м Бойко с перевязанной щекой (у нее всегда были флюсы, благодаря этим флюсам Ольге Таратуто удалось бежать под видом м-м Бойко с завязанной щекой) и сообщила нам, что Ольге Таратуто дают свидание с Мецем, Беленьким и Шерешевской, уводимыми на казнь.

В три часа ночи их увезли. Когда их вывели на двор и усадили в тюремную карету, Борис Мец поднял воротник пальто и сказал: «Как холодно, можно простудиться». К ним пригласили еврейского раввина. Товарищи заявили ему, что о раскаянии не может быть и речи, что если бы у них было десять жизней, они бы их все отдали на борьбу.

Вешали поочереди, Беленького последним. Шерешевская мучилась 25 минут. Ожидающие должны были смотреть на ее предсмертные конвульсии.

Так расправились царские лакеи со своими врагами.

В городе носились тревожные слухи, что собираются сделать что-то ужасное с политическими в тюрьме. Нас охватила тревога. Однажды ночью мы услыхали в коридоре топот ног и шум, но разобрать, в чем дело, не удалось. Вскоре все стихло. Утром мы узнали, что несколько пьяных офицеров ворвались в тюрьму и потребовали ключи от женских политических камер. Надзирательница не растерялась и убежала с ключами в контору. Офицеры вынуждены были уйти, не выполнив задуманного. Напряженное состояние тюрьмы дошло до крайних пределов. И вдруг опять ночью тревога, топот многих ног и бряцание оружия. Вот хлопают открываемые двери первого этажа. Вот уже шум на втором, кто-то приближается к нашей камере. Я жила вместе с М. Бородюковой.

«Что это? — пронизывает холодная мысль, — неужели снова пьяные офицеры?»

Открылась дверь, видно, как в коридоре бегают надзиратели, надзирательницы. Возле дверей стал солдат, мы спрашиваем его, в чем дело, но он грубо крикнул: — «Лежать смирно, ни с места». Тихонько стали совещаться, что делать, как защищаться. Украдкой под одеялом оделись, достали ножницы — оружие защиты. Теперь это кажется смешным и странным, но тогда казалось, что ножницы вывезут. Пробуем заговорить с солдатом, он вначале покрикивает на нас, но потом не выдерживает и сообщает, что обыски идут по всей тюрьме, что в мужском корпусе солдаты, полиция, жандармы ищут бомбы и оружие. Солдатам сказали, что в тюрьме сидят страшные люди — преступники, не признающие ни бога, ни царя, ни начальства. Всем им дали по хорошей чарке водки и приказали ни с кем не разговаривать, а при малейшем движении этих преступников — стрелять.

Обыск продолжался до утра, в женском корпусе отобрали только письма, но в мужском корпусе нашли динамит, который хранили для взрыва стены, и оружие. Тоска охватила всех нас. Побеги — эта главная надежда и упование всех заключенных — теперь казались недосягаемыми.

27 августа смертную казнь мне заменили бессрочной каторгой. Я это известие приняла совершенно равнодушно. Тяжело было начинать новую жизнь в кандалах. После всех казней, после всех ужасов, оставшись жить, надо было бороться, мстить, а не сидеть бессильно, закованной зрительницей. Бессрочная каторга, эта могила для живого, для меня казалась тяжелее, чем приговор.

Но все же я, помимо моей воли, оставалась жить и ждала отправки на каторгу. Хотелось скорее уйти из одесской тюрьмы, где все пережитое давило, где все так живо напоминало о трагической и безвременной гибели близких товарищей.

В средних числах ноября, когда мы вышли на прогулку, меня окликнул староста из мужского корпуса тов. Гершкович и сообщил, что меня высылают в Смоленскую каторжную тюрьму и сейчас вызовут в контору для заковки в ножные кандалы. Мы его подняли на смех, ибо еще не было случая, чтобы женщин заковывали.

С прогулки меня вызвали в контору. Помощник начальника тюрьмы на вопрос, зачем меня вызвали, не ответил, замялся. Даже тюремщики не были еще привычны к тому, чтобы женщин заковывали. Впоследствии кандалы вошли в обиход, как и смертная казнь, и всех бессрочных женщин заковывали. Заковали и меня в десятифунтовые кандалы. Женский корпус встретил меня молча, уголовные женщины, по обыкновению, со слезами и проклятьями по адресу палачей.

Первая ночь в кандалах была ужасна; мысль, что ты скована, что ты еще бо́льшая невольница, чем была до сих пор, давила ужасным гнетом, но, с другой стороны, чувствовалось как-будто даже удовлетворение, что разделяешь участь товарищей мужчин.

Глава вторая

В ДОРОГЕ. — ПОБЕГ ЖАДАНОВСКОГО

15 ноября меня вызвали на этап. Со мною отправляли на каторгу Розу Майденберг-Гершкович с шестинедельной дочуркой Ивочкой. Из административных, шедших вместе с нами, была только политическая Стуня Финкельштейн, высланная на 5 лет в Якутскую область. Мужчин политических, а также уголовной публики было много. Хотя мы прекрасно понимали, что идем на муки, все же все были оживлены, радовались чему-то и чего-то ждали.

Нас вывели за тюремные ворота. Давно невиданные улицы, свободные люди действовали ошеломляюще. Нас построили по четыре человека в ряд, окружили пешим и конным конвоем с шашками наголо и повели

через весь город на вокзал. Издали мелькали лица родственников, знакомых и товарищей. Было отрадно каждому из нас чувствовать, что в этой безразличной массе есть близкие люди.

Когда мы сели в поезд, уже смеркалось. Наше возбуждение улеглось. Мы стали присматриваться к конвоирам, пробовали заговаривать с ними, но трудно было найти точку соприкосновения. Скоро произошло у меня столкновение со старшим. Мне понадобилось в уборную, он открыл дверь и стал возле нее. Все мои доводы, что это дикая и недопустимая вещь, ни к чему не привели, пришлось отказаться от пользования уборной. Конвой был настолько темен и дик, что никак не мог себе представить отступлений от инструкций хоть на одну букву.

*

Мы доехали до Киева. Ровно год тому назад я вышла из киевской тюрьмы, где оставила много старых товарищей. Когда нас ввели во двор, товарищи стали окликать партию и справляться, здесь ли я. Получив утвердительный ответ, они начали о чем-то совещаться. Не успела я войти в камеру, как передаточным путем через этажи уже получила почту. Старостой мужского корпуса оказался мой старый знакомый Леон Гуревич, бундовец, сообщивший мне, что он готовит сюрприз на завтрашний день, а также, что к нашему этапу присоединяют для отправки в Смоленскую каторжную тюрьму Бориса Жадановского, офицера саперного батальона, приговоренного к смертной казни за вооруженное восстание в Киеве. Впоследствии казнь была заменена ему бессрочной каторгой [1]. Губернатор предложил Жадановскому дать слово, что он не будет делать попыток к побегу, и тогда он будет отправлен без кандалов. Жадановский, конечно, отказался, и его заковали, несмотря на то, что он был тяжело ранен во время восстания.

[1] Борис Жадановский погиб во время гражданской войны на Деникинском фронте, будучи командиром партизанского отряда.

Как бы тяжел или легок ни был режим, заключенный всегда строит планы, подчас фантастические, а на 99 проц. неудачные, но все-таки он их строит, он ими живет. И я немедленно начала вести переговоры с тов. Гуревичем о снабжении меня пилками, паспортом, адресами и т. д. Все это было мне передано. Я решила снять свои косы, чтобы бежать в мужском костюме.

В 11 часов утра нас вызвали на этап для дальнейшего следования. Когда открыли ворота из нашего корпуса в мужской, в первый момент нельзя было понять, где мы находимся. Развевающиеся красные и черные знамена, пение «Варшавянки» и марсельезы, оживленные лица — все это ошеломляло. Это и был сюрприз Гуревича. Я очутилась в чьих-то объятиях, кто-то выхватил мои вещи из рук, что-то говорили, кричали, — я ничего не соображала. Надзиратели тоже растерялись. Так прошло минут десять. Прибежал начальник тюрьмы и принялся уговаривать разойтись по камерам. Кое-как нас увели в контору, но крики во дворе мужского корпуса долго продолжались. Впоследствии я узнала, что для успокоения был введен конвой и несколько товарищей были ранены шашками. По дороге на вокзал я среди любопытствующей публики увидела свою приятельницу эсэрку Женю Черняк, которая шла за нашей партией до самого вокзала. Она мне делала какие-то знаки, которых я никак не могла понять. Потом оказалось, что она сняла со своей руки часы и просила конвойного офицера передать мне. Офицер честно ей заявил, что если даже он мне их передаст, все равно их при обыске отнимут.

В наш вагон ввели в арестантском костюме Жадановского. Это был скромный юноша лет 18, с застенчивой улыбкой. Его болезненный вид производил удручающее впечатление, и не верилось, что этот изможденный человек — боевик-революционер.

Киевский конвой оказался сговорчивее одесского. За несколько часов мы успели подружиться с ним, пробовали «заговаривать зубы», получалось удачно. Стали

совещаться, когда и как бежать. Решено было, что бегут Жадановский и я, как бессрочные, остальные имели небольшие сроки. Начали подпиливать решотку в вагоне и кандалы под наше пение и грохот поезда. Работа шла прекрасно. Скоро был вынут один железный прут решотки и можно было снять предварительно перепиленные, неудачно заклепанные кандалы Жадановского. Со мной дело обстояло хуже: при моей комплекции нечего было и думать пролезть сквозь узкое отверстие, кроме того, к моим кандалам еще не приступали, на них понадобилось бы по меньшей мере два часа, а за это время все могло рухнуть. Ждать провала обоих не стоило, и товарищи спустили одного Жадановского через окно на ходу поезда между Киевом и Курском.

Мы притворились спящими. Ждем разворачивания дальнейших событий. Началась проверка. Сосчитали раз, другой, пересчитали третий. Одного не хватает. Моментально забили тревогу, побежали за офицером. Куда девались добродушные парни, мирно беседовавшие с нами и даже выражавшие свое сочувствие! Перед нами были озверевшие солдаты, готовые в любую минуту расправиться, как только начальство прикажет.

Нас растолкали, заставили выстроиться. Лица у нас как-будто сонные, но в действительности каждый ликованием полон: хоть одному, но удалось скрыться.

Офицер строго допрашивает, где и когда убежал Жадановский.

Товарищи перешептываются, молчат. Мне надоедает эта комедия, и я резко заявляю, что товарищи Жадановского никогда его не выдадут. Это должно быть ясно господину офицеру.

Солдаты трусливо заявляют, что я их агитировала все время. Мне смешно, ибо что еще можно прибавить к моей бессрочности?

Но офицер мне все-таки отомстил: он написал в моем статейном списке, что я пыталась бежать. Благодаря этой приписке за мной особенно тщательно везде следили.

Смелый побег Жадановского, к несчастью, оказался неудачным. В один далеко не прекрасный день, когда я сидела в смоленской тюрьме, мне сообщили, что привезли Жадановского, и я узнала подробности его провала.

Брошенный из вагона на ходу поезда, он расшибся, но через несколько минут пришел в себя и кое-как побрел по рельсам, совершенно не зная местности. Стоял отчаянный холод, а он был в одном легком пиджаке. Продрогнув, что называется, до костей, он только на рассвете попал в какую-то деревню, лелея надежду обогреться до вечера где-либо в сарае, а ночью шагать дальше. Его заметил какой-то крестьянин, молотивший хлеб. Скрываться было уже поздно, и Жадановский, подойдя к нему, завел разговор. Но разбитое и опухшее лицо Бориса, арестантские штаны, измазанный пиджачишко не располагали в его пользу. Он сильно смахивал на карманного вора. Крестьянин решил схитрить.

— Здесь шляется всякий народ, — заговорил он, — воры, разбойники, вот, если бы забрел сюда политический, я бы его скрыл, не побоялся бы

Жадановский, видя, что дело все равно плохо, а может быть, поверив искренности крестьянина, пошел напрямик:

— Приятель, ты меня спрячь, я — политический. Дай мне возможность скрыться, а за это тебя уж отблагодарят.

— Ну, что с тобой делать, — ответил крестьянин, — залезай в сарай, тут сено, а я принесу тебе поесть.

Жадановский с наслаждением растянулся на ворохе сена, но не успел он вздремнуть, как крестьянин торжествующе привел двух стражников. Нечего было и думать о сопротивлении. Его арестовали и отправили в Курск, где через три дня он был опознан и отправлен в Смоленск.

*

Мы доехали до Орла, где нас отделили от мужчин. Я с Розой Майденберг очутилась в огромной камере, где

содержались шестьдесят уголовных женщин, по большей части мелких воровок, которые были неравнодушны ко всему, что плохо лежало. Роза с ребенком устроилась на нарах, я же решила всю ночь не спать, ибо боялась, что нас очистят. Действительно, как только наступила ночь и все стихло, они пытались пошарить у нас, но, узнав, что я не сплю, разбежались беззвучно, как мыши.

Политических женщин, кроме нас двоих, никого не было. Мужской корпус находился в этом же дворе. Вести быстро летят даже в тюрьме. Когда товарищи узнали, что политическая закована в кандалы, они потребовали моей расковки. Требование было явно беззаконное, и на него никто не обращал внимания. Они стали вызывать к себе прокурора, губернатора, но ни тот ни другой не явился. Тогда устроили дебош, — выбили окна, разворотили печи, — никакого впечатления. Перед вечером нас вызвали на этап и экстренно отправили. Прокурор явился в мужскую тюрьму лишь после нашей отправки. На требование заключенных расковать меня он ответил, что это не в его власти, так как меня уже нет в Орловской тюрьме.

Глава третья

СМОЛЕНСКАЯ ТЮРЬМА

В Смоленск мы прибыли утром. Нас прямо с вокзала отправили в гражданскую тюрьму и вызвали конвой из каторжной тюрьмы, расположенной в 2—3 верстах от города. В ней, как мы узнали, пока находились только кронштадтские и севастопольские матросы. Розу Майденберг с ребенком оставили на время в гражданской тюрьме, так как не было подводы, а в такую даль и холод ее не решались пустить пешком.

Мы бодро шагали по городу. Звон кандалов был еще новинкой для смольчан, и публика со всех улиц и переулков сбегалась посмотреть на «преступников». Какая-то

девушка, увидев меня в кандалах, зашаталась. Не знаю, была ли это сентиментальная гимназистка или страдающий товарищ.

Смоленская каторжная тюрьма занимала большое каменное здание, больше походившее на казармы, нежели на цитадель. Нас вышло встречать тюремное начальство. Я была единственной женщиной среди всей партии. Начальство обратило на это внимание и начало отпускать по моему адресу пошлые шутки. Издевались надо мной, как над женщиной и еврейкой. Я видела бессильную ярость и возмущение товарищей. Нервы мои не выдержали, я бросилась вперед и гневно закричала на одного из оскорбителей:

— Негодяй, ты не смеешь издеваться надо мной, я политическая.

Мое выступление подействовало, отношение ко мне сразу изменилось.

Стали разводить по камерам. Я попрощалась с товарищами: с одними навсегда, с другими на долгие годы. Уже опустел двор, когда ко мне подошел офицер и заявил, что я сюда направлена по ошибке, что меня отправят обратно, так как эта каторжная тюрьма исключительно мужская. Я потребовала, чтобы меня или немедленно отвезли, или ввели в канцелярию, так как я начинала замерзать. Долго длились переговоры, наступил уже вечер. Наконец подали подводу, усадили меня с двумя конвойными и отправили. Конвойные оказались ребята разговорчивые, добродушные и производили впечатление хороших деревенских парней. В тот момент, при небольшой помощи со стороны, я могла бы удачно скрыться.

Подъехали к тюрьме. Войдя в канцелярию, конвойные сдали меня начальнику и дружески попрощались со мной. На мой вопрос, где сидит Майденберг, начальник мне ответил, что ее уже устроили в камере, а меня сейчас отведут в одиночку. Я потребовала, чтобы меня поместили к ней, так как она еще не окрепла после родов и не в силах возиться с ребенком, но начальник не имел

права самолично решить этот вопрос и пообещал запросить инспектора. Меня ввели в какое-то подземелье и втолкнули в крошечную камеру. Тусклый свет едва лился из маленького отверстия на потолке. Камера была холодная и грязная, стены серые с бурыми пятнами от раздавленных клопов; койки не было, прямо на полу лежал грязный, вонючий матрац. Но моя усталость была так велика, что я свалилась на него и моментально уснула, как убитая. Вдруг я почувствовала, что меня кто-то дергает. Шевельнулась ленивая мысль: «на казнь?», а я дьявольски хочу спать. Меня продолжают будить, напрягаю всю силу воли, с трудом поднимаю голову, — передо мной начальник тюрьмы и надзиратель.

— Пожалуйте в камеру к Майденберг. Инспектор разрешил. Ведь и мы люди, не звери... знаете, мы тут не при чем...

Старикашка — начальник — доволен, потирает руки, вот угодил.

Камера Розы чище, чем моя яма, но тоже холодная и сырая. Роза очень обрадовалась моему переводу. Я ее устроила на койке с малюткой, сама улеглась на моем знаменитом матраце. Измученные пережитым, мы уснули. Ночью меня разбудил страшный шум и визг.

Десятки мышей скользили, шлепались со стен, потолка, визжали, шныряли по нас. Они всегда вызывали во мне брезгливую дрожь, но такое нашествие заставило меня содрогнуться от отвращения. Мыши до того развеселились, что даже не испугались, когда я вскочила на ноги, и только звон моих кандалов заставил их скрыться в щели.

Утром нас перевели в другую камеру мужской тюрьмы, ибо забор в женской был неблагонадежен, а благодаря приписке жандармского офицера о моей попытке бежать, меня особенно стерегли. В новой камере мы устроились «с удобствами»; там были две койки, стол, две табуретки. В уборную нас не выпускали, но поставили постоянную парашу с крышкой. На прогулку выводили ежедневно на один час. Около

нашей двери поставили специального часового, так что мы были «вне всякой опасности».

С разрешения тюремного инспектора, который оказался более или менее уступчивым тюремщиком, из города нам ежедневно передавали обед и молоко. Завязалась оживленная переписка с товарищами из мужского корпуса, стали снова подумывать о побеге, строить планы. Так прошло недели две.

И вдруг среди этого сравнительного спокойствия мы узнаем, что в каторжной тюрьме, где содержались наши товарищи, начался «голый бунт». Подробности были неизвестны и загадочны для нас. Там находился и муж Розы — Лев Гершкович. Совсем недавно ему обещали дать свидание с женой и ребенком, теперь же прекратились и письма. Нами овладела тюремная лихорадка и томительное чувство неизвестности. Посетил нас раза два тюремный инспектор, но, понятно, от вылощенного, галантного инспектора можно было столько же узнать, сколько и от нашего старикашки начальника. На воле у нас не было ни знакомых ни близких, которые могли бы хоть что-нибудь узнать и нам сообщить. Из случайных записок от товарищей мы только знали, что у них идет нечеловеческая борьба.

Прополз напряженный месяц. Я строила вполне реальные планы на побег. Но нежданно-негаданно нас с Розой отправили в Москву. Администрации Смоленской тюрьмы я была в тягость, — каторжанка бессрочная, все время гляди в оба, а то убежит.

Так еще раз рухнули мои планы бежать.

Глава четвертая

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА

Несколько часов от Смоленска до Москвы быстро промелькнули. С нашим этапом ехали высланные в Вологодскую губернию несколько аграрников и один учитель.

С вокзала нас отправили прямо в Бутырки. Узнав, что начальник Бутырок—бывший начальник одесской тюрьмы Парфенов, я потребовала, чтобы меня привели к нему. Кольца моих кандалов были очень узки, причиняли боль и мешали ходить, я хотела, чтоб меня перековали.

Но аудиенции у Парфенова я не дождалась; меня привели к кузнецу, расковали и водворили на место жительства.

Потом я узнала, что Парфенов не любит встречаться со «старыми знакомыми».

Камера была огромная, на шестьдесят человек. Политические пересыльные были смешаны с уголовными.

Из политических я там встретила Ксению Шмидт (Зину Бронштейн), приговоренную к шести годам за лабораторию бомб и вооруженное сопротивление, Катю Эрделевскую и Ольгу Поляк—по делу Зины Бронштейн, Мухину, приговоренную к высылке за московское декабрьское восстание.

После одесской одиночки и смоленской изоляции Бутырки казались мне шумным рынком. Уголовные относились к нам хорошо, среди них встречались любопытнейшие типы.

Режим в Бутырской тюрьме был тогда сравнительно легкий. Разрешалось днем ходить по всем коридорам, камерам, в кубовую, двери запирали только на ночь. Но воздух в камере был ночью настолько тяжел, что у меня и Ольги Поляк часто делались припадки астмы. Приходилось вызывать врача, уносить нас в больницу, сначала в общую палату, а утром в каменный корпус больницы в одиночку. Так я путешествовала на носилках ночью раз пять-шесть.

В одну из подобных экскурсий я познакомилась с Беленцовым, максималистом, участником экспроприации Московского банка. Беленцов бежал с деньгами в Швейцарию, там он провалился, и его выдали в Россию как уголовного. Конвоиры были подкуплены. По дороге в Россию он бежал. Он прибыл в Москву с фальшивым паспортом. На одной из московских застав его

арестовали как подозрительную личность и отправили в Таганскую тюрьму. Там он был опознан и немедленно переведен в Бутырки. У Беленцова был туберкулез в третьей стадии. Но, несмотря на это, его все же заковали и в таком виде положили в больницу. К нему заходил три раза в день старший надзиратель вместе с дежурным, ключи от его камеры хранились в конторе, кроме обыкновенного замка имелся еще заграничный замок, волчок (род фортки) был наглухо забит.

Беленцов впоследствии так закованный и умер. Но тогда он был еще жив, и меня поместили рядом с ним, а с другой стороны лежал Шмидт, сын фабриканта, студент, с.-д., осужденный за декабрьское восстание.

Знакомились и переговаривались мы таким образом: двери наших камер внизу не плотно прилегали к полу, мы ложились на пол к этой щели и беседовали с ближайшим соседом, а тот передавал другому, третьему и т. д. Со Шмидтом почти никто не переговаривался за то время, как я лежала в больнице. Видела я его только один раз. Когда пришел уголовный убирать мою камеру, я выскочила в коридор и подбежала к камере Шмидта. Надзиратель стоял с ним около открытых дверей и о чем-то разговаривал. Я едва успела пожать ему руку, как надзиратель быстро закрыл камеру.

Шмидт производил впечатление очень угрюмого человека. В больнице товарищи говорили о нем, как о психически больном человеке. Я склонна думать, что администрации было выгодно распространять эти слухи.

Кончил свою жизнь Шмидт трагически: распространились слухи, что он зарезался куском стекла. Нам показалось странным, как мог человек сам зарезаться небольшим куском стекла, тем более, что это произошло перед самым его освобождением. Лишь после революции 1917 года выяснилось, что его зарезал надзиратель.

Ближайшими соседями моими после Беленцова были Александр Голубых — рабочий, с.-д. большевик, и Вино-

градов. Голубых был приговорен к смерти, попался он на экспроприации. Жажда жизни у него была так велика, что он подал на высочайшее имя прошение о помиловании. Но и прошение не помогло. Голубых повесили.

Об этой казни мне сообщил Беленцов следующей запиской:

«Дорогой товарищ, не стало Саши Голубых. Сегодня ночью его вывели из камеры на казнь, я услыхал шум, забрался в окно, чтобы узнать, что случилось. На улице я увидел, что его ведут надзиратели и какие-то штатские, он снял шапку, махая ею по направлению наших окон и оборачиваясь на ходу. Уже его самого не видно было, но слышно было, как он кричал: «Прощайте, товарищи!» После смерти Мазурина я думал, что ничто меня не поразит, а вот теперь после смерти Саши у меня хлынула кровь из горла.

Жму товарищески руки. Беленцов».

Уже будучи в общей пересыльной камере я узнала о смерти Беленцова. Умер ли он своей смертью — неизвестно. Этот юноша, увлеченный волнами революции, по своей психологии не был социалистом.

Мы строили всевозможные предположения относительно того, куда нас, каторжанок, посадят. Тогда начали строить знаменитые двадцатки, но это была опять-таки мужская каторжная тюрьма. Ничего никто не знал толком. Начальник тюрьмы Парфенов был переведен во Владимирскую центральную тюрьму.

В начале 1907 года отхлынула волна либерализма, и реакция сильнее сжала тиски. В это время была арестована в Большом театре Фрума Фрумкина, которую выдала Жученко.

В Бутырках заместителем начальника был назначен Багрецов. Настоящий зверь по поступкам и внешности, он стал грозой тюрьмы. На него-то и покушалась Фрумкина. Вызванная по ее просьбе к начальнику тюрьмы, войдя в кабинет, она выстрелила, слегка ранив его в руку. Помощник начальника, бывший при этом,

схватил ее за руку. Фрумкина выстрелила второй раз, легко ранив и помощника.

Родственники Фрумкиной и адвокатура хлопотали о назначении экспертизы, ссылаясь на то, что она психически больной человек. Но Фрумкина категорически отказалась от экспертизы и была повешена. Это был человек с кристальной душой, беззаветно преданный идее революции, готовый итти на самые ужасные пытки и муки во имя свободы и справедливости.

Когда меня отправляли в Сибирь, мы увиделись в конторе, ее вели к защитнику. Я бросилась к ней, мы обнялись и попрощались: одна смертница, другая бессрочница.

— Передайте привет каторжанам и пожелайте им бодрости.

Я видела много товарищей, приговоренных к смерти, но такого обреченного лица я не видела ни у кого.

После покушения Фрумкиной тюрьму «завинтили». Передачи, кроме сахару и чаю, не разрешались, свидания допускались только через решотки. После поверки в кубовую [1] не выпускали.

Тюрьма наполнилась административными, пересыльными. Ссылались в разные губернии — Архангельскую, Вологодскую, Нарым и т. д. Среди административных были три молодые девушки — сестры одного политического, бежавшего из варшавской тюрьмы Павяка. За побег брата была арестована вся семья; отца с матерью и братишкой выслали в Архангельскую губернию, а трех сестер — в Вологодскую.

Однажды в пересыльную тюрьму пришел помощник начальника тюрьмы Герценштейн. Административные

[1] В Бутырской пересыльной тюрьме вместе с уборной был громадный куб для воды, оттого эта комната называлась кубовой. Эта кубовая была открыта до поздней ночи. Окна из кубовой выходили во двор женского политического корпуса. Через эти окна мы, политические пересыльные, сносились с женским и с мужским корпусами. После покушения Фрумкиной на начальника тюрьмы нас стали пускать в кубовую по 3—4 раза в день.

пели «Варшавянку». Он приказал им замолчать, но они из протеста продолжали петь. Он велел запереть их в камеру и посадить на парашу [1]. Но пение продолжалось.

Герценштейн ушел.

Мы успели условиться, что как только кто-либо узнает о приходе помощника, тот должен будет дать знать товарищам, и те снова начнут петь. Эта комедия продолжалась целый день.

В четвертый раз пришел помощник, и в четвертый раз грянула дружная песня.

Взбешенный, он подлетел ко мне:

— Это вы им сообщили?

— Если даже и я, то это не ваше дело.

— В карцер! — крикнул он диким голосом.

Я накинула халат. Зина Бронштейн и Катя Эрделевская помчались за мной. Роза бросилась за нами. Помощник насильно толкнул ее в камеру и запер дверь. Ее не пустили, потому что у нее был грудной ребенок. Она продолжала бушевать, требуя, чтобы ее тоже взяли в карцер. Административные подняли дебош, разбили парашу о дверь, требуя нашего освобождения или карцера для всех. Еще семь человек присоединили к нам.

Это было в день нового года. Карцер представлял собой настоящий склеп. Нас долго водили по всяким подземельям, пока мы попали в эту яму. Никогда в жизни я ничего более жуткого не встречала. Потом передавали, что даже администрация решила ликвидировать этот карцер и что там были найдены человеческие кости. Уголовные испытывали ужас перед этим карцером. Многие, попав туда, больше не возвращались. Надзиратели частенько забывали о них. Голод и крысы доканчивали жандармское дело.

Нас посадили по двое в каждую камеру. Со мной попала четырнадцатилетняя девочка, полька. Одеты мы

[1] „Посадить на парашу“ значит поставить в камеру парашу и на день (не только на ночь), лишив права пользования уборной.

были только в казенные халаты. Холод и сырость были отчаянные, карцер всю зиму не топили. Надзиратель предложил нам затопить печку, но мы побоялись отравиться угаром и отказались. В каждом карцере поставили по две парашки: одну с водой, а другую для надобности, но трудно было понять, которая предназначалась для воды, обе были одинаково грязны. Где-то далеко-далеко едва мерцал огонек, дававший нам возможность наблюдать, как стаи громадных крыс скользили по стенам. Чтобы они на нас не напали, мы установили дежурство; одна садилась на пол отдыхать, другая стояла и стучала ногами, и так по-очереди.

Вначале мы шумели, кричали, пели, здесь была абсолютная свобода — никто не мешал изливать свои чувства. Наконец это стало нам надоедать. Мы потеряли всякое представление о времени, не зная, когда кончается день и когда начинается ночь. Через трое суток нас выпустили.

За эти три дня мы выпачкались ужасно и выглядели настоящими трубочистами. Уголовницы нас встретили дружным хохотом. Можно себе представить, какой вид мы приобрели бы, если бы посидели месяц.

Тюремный режим становился все более жестким, и администрация все более наглела. В Бутырках отстроили новый корпус с камерами на двадцать человек, отсюда и пошло название двадцатки, но фактически в них помещалось человек по сорок и больше. С политическими пробовали обращаться на «ты», чего раньше себе не позволяли. Мы не отвечали. Напряженность росла.

В это время из Петербурга прибыла Ольга Нансон (Юлия Зубелевич). Она была известна в организации под кличкой Даша. Она давно разыскивалась петроградской охранкой, как один из видных организаторов Кронштадтского восстания.

Скромная на вид девушка с кротким вдумчивым взглядом, она пользовалась большим авторитетом и влиянием. Даша (Ольга Насон) шла на так называемую родину для установления личности. Нужно было по до-

роге устроить ей побег, так как мы сомневались, признают ли ее лже-родители Насоны.

Ольга прежде всего просила достать ей яду, а потом надо было во что бы то ни стало задержать ее в Москве еще на одну неделю, чтобы дать возможность товарищам подготовить побег с дороги. Я попросила Николая Белова экстренно достать яду из города. Но это было накануне этапа, и мы боялись, что не успеем получить. Как задержать Дашу еще на неделю? Мы решили, что лучше всего симулировать истерику.

Как только кончилась поверка, с Дашей началась «истерика». Когда я услыхала ее крики и смех, я тоже начала хохотать. Где-то бьется подсознательная мысль, что это дико, несуразно, что это опасно, наконец,—могу навести на подозрение уголовных, да и политические не все были в курсе, но сдержать себя не могу. Пробовала прятать голову в подушки, не помогает—хохочу, да и только.

Даша начала с симуляции, а кончила настоящей истерикой. Пришлось ее держать, чтобы она не разбилась о койку. Вызвали врача, но он в больницу ее не взял, а только дал успокоительное.

Утром ее вызвали на этап, измученную, истерзанную истерикой и бессонницей. Вид у нее был ужасный. И когда конвойный офицер обратился к ней с каким-то грубым словом, истерика повторилась. Офицер отказался принять ее на этап. Ее привели обратно в камеру, что нам и требовалось. Через неделю она ушла с этапом и спустя несколько дней бежала из Оренбургской тюремной больницы с помощью эсэровской боевой дружины, организатором которой был тов. Козубенко.

Из каторжанок в Сибирь была выслана пока только одна Зина Бронштейн. Мы же попрежнему оставались в Бутырках в неведении. Носились слухи, что в Сибирь больше женщин не будут высылать, так как Мальцевская каторжная женская тюрьма переполнена; говорили, что распределят каторжанок по каторжным тюрьмам Европейской России.

А Сибирь манила к себе. Столько заманчивых перспектив: во-первых, возможность побега с дороги, во-вторых, из самой сибирской тюрьмы легче бежать, а в-третьих, там сидели «лучшие из лучших». Последнее только казалось, впоследствии я убедилась, что все люди грешны.

Мой отец поехал в Петербург хлопотать о моей высылке в Сибирь. Я вела переписку с одним товарищем, который скоро должен был освободиться из дисциплинарного батальона и следовать за мной для подготовки моего побега.

Когда пришли бумаги из Петербурга о моей высылке в Сибирь, этот товарищ вновь попал под суд за организацию бунта в дисциплинарном батальоне, скоро был судим и получил 15 лет каторги.

Так неудачно кончилась моя третья попытка побега.

Глава пятая

ПО ДОРОГЕ В СИБИРЬ

Перед отправкой меня вновь заковали в ручные и ножные кандалы и повели на вокзал. Политических каторжан в партии совершенно не было; отправлялись только несколько административно-ссыльных.

В Москве издавна существовал обычай: когда проводят арестантов по городу, добросердечные старушки и старички подносят подаяние: колачики, копейки и алтыны. Пробовали было и мне подавать, хотя вначале и шарахались, увидев женщину в кандалах, но «милосердие» победило. Когда я отказалась от подаяния, старушки вытаращили на меня удивленные глаза, а уголовные предложили: «Вы принимайте, вам больше дадут, чем нам, из жалости, а потом нам отдадите».

Из Нижнего мы ехали пароходом до Самары. Трюм переполнен. Духота невероятная. Воздух был пропитан руганью уголовных. Они играли в карты, продавали казенные вещи или проигрывали их, пили неизвестно

откуда добытую водку. На палубу нас выпускали только перед самым вечером. От вольной публики нас отделяла решотка, через которую нас рассматривали как странных зверей.

Самарская тюрьма по своему внутреннему устройству напоминает одесскую: тот же размер одиночек с асфальтовым полом, те же привинченные койки, те же винтовые ажурные лестницы, только нет чистоты и порядка.

После душного трюма, шума и ругани я почувствовала себя прекрасно в своей одиночке и, как убитая, уснула. Проснулась поздно вечером. В камере горит электрическая лампочка. Это была первая тюрьма, в которую проникла культура.

В Самаре мы оставались два дня.

Когда меня вызвали на этап, увидела много знакомых из одесской тюрьмы: Вениамин Фридман, мой товарищ по работе, Бонишко, Кунени, Столяров и другие. Фридман и Столяров были сильно избиты. Оказалось, что по дороге из Одессы в Самару несколько человек их бежало из вагона, их поймали и основательно избили, других последствий не было.

Когда нас провели на вокзал и усадили в вагон, конвойные стояли вдали и как-будто мало обращали на нас внимания. Публики собралось очень много. К несчастью, я больше всех обращала на себя внимание своими браслетами.

Какая-то молодая девушка все время плакала. Я ей возбужденно крикнула:

— Не плачьте, мы вернемся, будущее за нами!

Подскочил ковойный, оттолкнул меня от окна и гадко выругался. Я была так возмущена, что со всего размаха отпустила конвойному пощечину. Он ударил меня рукояткой револьвера в грудь и схватил за руки. Товарищи повскакали с мест. Ужас был написан на их лицах.

Я моментально опомнилась и крикнула:

— Ни слова, я сама постою за себя!

Должно быть, они почувствовали в моем возгласе решимость, которая парализовала их волю. Это было большое счастье, иначе произошла бы расправа со всеми. Через несколько минут вбежал конвойный офицер, маленький, плюгавенький человечек с гнусавым голосом. Брызжа слюной, он выкрикивал:

— Где, где арестантка, осмелившаяся бить конвойного?

Я была спокойна настолько, насколько спокоен человек, который знает, что с ним все могут сделать, и на все готов.

— Здесь! — заявила я спокойно. — Что вам угодно?

— Это вы ударили конвойного? — волновался офицер.

Мне стало смешно от вопроса. Факт был слишком очевиден.

— А вы знаете, что я могу с вами сделать? — продолжал он наступать.

— Еще бы, и все-таки, если бы ваш конвойный осмелился меня оскорбить еще раз, я бы повторила то же самое. А если бы у меня было оружие, я бы его на месте застрелила.

Офицер, как видно, был ошеломлен. Тут же он отдал распоряжение убрать меня из вагона. Товарищей я оставила с окаменевшими лицами. Ожидать можно было всего. Я не знаю, на что я надеялась, но твердо решила живой в руки не отдаваться.

Меня водили из вагона в вагон. Я потеряла им счет. Только приведут в какой-нибудь вагон, только усядусь, — опять ведут дальше. Какая была цель у офицера, до сих пор мне непонятно.

Наконец меня ввели в вагон, переполненный исключительно мелкими воришками, высылаемыми на родину. Грязь, гадость, ругань. Насекомые стаями ползали по скамейкам, по полу. Люди их ловили и тут же расправлялись с ними.

Мне уступили место на скамейке. И в такой обстановке мы доехали до Челябинска. В Челябинске менялся

конвой. Утро было яркое, солнечное, а на душе была слякоть и мрак. Одно только успокаивало, что никто не поплатился за мой необдуманный поступок.

К нам в вагон явился офицер, красивый молодой человек с смеющимися глазами, элегантно одетый. Расшаркался передо мной:

— М-ль Деркач, пожалуйте в вагон к вашим товарищам, они о вас беспокоятся!

От побоев и ругани непонятен был такой переход к изысканной вежливости.

Я с наслаждением вошла в наш вагон, и он мне после свинятника показался салоном. Товарищи очень обрадовались мне. Они думали, что меня уже нет в живых.

Челябинский конвой оказался уже распропагандированным, так что с ним ехать было легче. Приносили нужные нам продукты, табак, разрешали петь песни и смотреть в окна на станциях, но стерегли нас не меньше. В Иркутск мы приехали утром, а вечером нас снова вызвали на этап.

Когда не было начальства, конвойные подходили к нам, вели беседы о политике, о своей жизни, рассказывали, какой зверь их начальник, что за малейший проступок он отдает солдат под суд, и что многие солдаты ни за что получили дисциплинарный батальон, который хуже каторги. Задавали вопросы, почему революционеры не убивают таких начальников.

Я нашла момент удачным.

— Дайте мне возможность бежать; конвойного, который устроит мне побег, мы переправим за границу, я же останусь здесь и убью вашего начальника.

Они ухватились за эту мысль. Показали мне одного конвойного, сопровождавшего этап, который будто бы даже состоит в организации. Я, конечно, посвятила товарищей в мой план побега через конвойного. Обсудили, сколько человек должно бежать. Выделили для переговоров с конвойным нашего этапного старосту Жоржа Кунени. Мы вдвоем с Жоржем продолжали обсуждать вопрос, где и когда удобнее бежать. Конвой-

ный уверил, что самое лучшее — бежать из Сретенской пересылки: барак там деревянный, забор не высокий; с 12 часов ночи он будет в карауле, постарается стать перед нашими окнами, мы к тому времени должны перепилить решотку и вместе с ним уйти. Как все просто! Он предупредил нас, что в Сретенске очень тщательно обыскивают, что раздевают догола.

Как же пронести паспорт и английские пилки? Стали мы совещаться. Правда, на момент возникла мысль, не провоцирует ли конвойный? Но другого выхода не было. Если мы провалимся, я, как бессрочница, все возьму на себя.

Решили всю нелегальщину отдать конвойному. Так и сделали. Он куда-то исчез, а минут через десять к нам явился конвойный офицер со старшим, отобрал табак, и кто был без наручников — получили их на месте. Такого быстрого провала мы никак не ожидали. Ясно, что конвойный был провокатор.

Так мы доехали до Сретенска, где кончается железная дорога и начинается великий и тяжелый путь в Нерчинские рудники. Дорога от Сретенска до Нерчинских рудников — это тернистый путь, облитый кровью и потом сотен и тысяч лучших людей, начиная от декабристов и кончая нашим поколением.

Слышали мы, что сретенский конвой — один из самых зверских, но тот прием, который нам оказали тут же на вокзале, превзошел все наши ожидания. Нас едва вывели из вагона, как приклады уже прогуливались по нашим спинам. Особенно старший конвойный старался заслужить третью нашивку на погонах. Худой как скелет, с рябым лицом, с горящими ненавистью глазами, он своими орангутангскими руками хватал то одного, то другого и швырял их как мячики.

Я была в своем платье. До сих пор мне это сходило, но сретенский конвойный офицер Евреинов сразу приказал: «переодеться!»

Я ему ответила, что на улице не переодеваются. Он стал настаивать. Я заявила в категорической форме, что

на улице я не переоденусь и что если он хочет, то может применить ко мне силу.

Стали собираться любопытные. Офицер попал впросак, — раздевать женщину на улице при всех все-таки неудобно.

Он заскрежетал зубами, велел вести этап дальше. У всех нас возникла одна и та же мысль: расправа впереди, на людях она не удобна.

Тюрьма — деревянный барак. Бежать как-будто удобно. Но теперь, очевидно, стеречь будут хорошо. Начался обыск. Приклады гуляли по спинам, молотки по ногам, пробовали крепость кандалов, не перепилены ли они. Все, что находили у нас: письма, карточки—вполне легальные вещи, — все зверски уничтожалось. Двор забелел бумажками.

Дошла, наконец, очередь до меня. Офицер прежде всего нецензурно выругался, сорвал свою злобу.

Приступили к личному обыску. Я требовала, чтобы меня обыскивала женщина, как полагается по уставу, ведь Николай охранял нашу нравственность. Но они решили, очевидно, что я настолько безнравственна, что ничего со мной не случится, если будут обыскивать конвойные. Конвойные вели себя нагло и цинично, старались изо всех сил в присутствии офицера. Затем меня в буквальном смысле бросили в темный карцер.

Через несколько минут явился ко мне гориллообразный старший с открытыми объятиями. Я дико закричала:

— Не сметь подходить! Живой я не сдамся!

Что было после — я не помню. Последнее проникшее в мое сознание было то, что солдат, как пробка, выскочил из карцера.

Пришла я в себя, как мне потом сообщили, часа через два. На коленях передо мной стоял фельдшер и что-то лил в рот, а вдали я различила конвойного офицера. Я была настолько разбита, что еле ворочала языком.

— Избавьте меня от любезностей ваших солдат, — обратилась я к офицеру.

— Позвольте вам не верить, — был ответ.

Тут я вскочила и бросилась на офицера с криком:

— Вы не смеете мне не верить, я—политическая каторжанка.

Я думаю, что вид у меня был далеко не мирный, да и намерения не оставляли сомнения. Офицер заговорил мирным тоном:

— Скажите, чего вы хотите, и все, что законно, я сделаю.

Я потребовала, чтобы ключи от моего карцера находились у него. Как-будто тут была гарантия от насилия!

— Этого я не имею права сделать, — последовал ответ. — Вдруг случится пожар или что-нибудь подобное, я могу попасть под суд за это. Но я даю вам слово офицера, что каждые 15 минут я буду проверять конвой, стоящий у ваших дверей.

И он сдержал свое слово.

После этого как конвойный офицер, так и солдаты совершенно изменили отношение ко мне.

На рассвете третьего дня наш этап вышел. Каков же был мой ужас, когда я увидела, что, кроме откормленного фельдфебеля, наш этап сопровождал и горилло-образный старший! Самый отсталый элемент — это фельдфебеля. Эти остающиеся на сверхсрочной службе с тем, чтобы выслужиться в казарме, по большей части люди малограмотные, грубые, угнетают своих подчиненных, зверски относятся к арестантам. Фельдфебеля — бич для партии.

Когда мы отъехали несколько верст от Сретенска, старший подошел ко мне и, оглядываясь, чтобы фельдфебель не видел, стал передо мной извиняться. Он, мол, не знал, что я—политическая, что женщин политических он еще не водил.

Пока вел нас этот орангутанг, ни один товарищ не получил ни одного приклада. Он изменил свою тактику из боязни, что я на него укажу офицеру, а тот не менее жесток с солдатами, чем с арестантами. Старший разрешил мне снимать наручники, когда фельдфебель

этого не видел, разрешил мне посадить на подводу уголовную женщину, которая шла на каторгу вместе со своим возлюбленным за убийство мужа. Это была прибитая, приниженная крестьянка, боявшаяся и своего возлюбленного и конвойных, которые к ней приставали. Если она не отвечала на любезности фельдфебеля, он обещал посадить ее в карцер, когда придут на этап, если же относилась к нему благосклонно — на этапе ее избивал возлюбленный.

Я написала в Иркутск и Москву о конвойном провокаторе. Письмо сумели поместить в печати. Товарищи, которые должны были итти по этому пути, были предупреждены.

Несколько месяцев спустя проходила через Сретенск Ольга Поляк, этот же старший подошел к ней и спросил, знает ли она меня и известна ли ей история, которая случилась здесь. Она ответила, что ей известно все.

— Я очень виноват, — сказал он. — Я дурак и темный человек. Теперь я понял, за что борется «политика» (политические заключенные).

Как мне потом передавали, история со мной произвела перелом в его мировоззрении, он даже устроил побег двум политическим и сам попал под суд.

Какова была его дальнейшая участь, я не знаю.

*

4 июля 1907 года мы дошли до Зерентуя. Зерентуйская мужская каторжная тюрьма, красивое белое здание с высокой каменной стеной, расположена в пяти верстах от женской каторжной тюрьмы Мальцевки.

Последняя окружена цепью сопок, и ее трудно было различить даже на близком расстоянии.

По дороге в Мальцевку я встретила мужа Маруси Беневской — Бориса Николаевича Моисеенко. Он мне сообщил, что в Мальцевке меня ждут. Оказалось, что конвойное начальство телеграфно сообщило на каторгу, что идет неугомонная бессрочная каторжанка — террористка, которую нужно особенно охранять. Начальник

тюрьмы Фищев приходил в тюрьму, расспрашивал товарищей обо мне, что это за «страшная такая каторжанка», просил: «Повлияйте, пожалуйста, на нее, чтобы здесь все было тихо, смирно, ведь я хочу в ладу жить с вами».

Фищев, старый тюремщик, дослуживавший свою пенсию, особенно уже не старался вводить режим, его задача состояла только в том, чтобы арестанты не бежали, чтобы он мог уйти на покой с полной пенсией. Толстый, с громадным брюхом, красным лицом, неподвижный, еле тащивший ноги, он передал бразды правления в руки старшего надзирателя Макарова.

Когда мы подошли к Мальцевке, меня поразил вид каторжной тюрьмы. Длинный деревянный барак, окруженный белой стеной, отнюдь не производил впечатления грозной крепости с каменными башнями и вышками со всех сторон, на которых день и ночь ходят часовые, как это рисовало мое воображение. Каменную стену, казалось, было легко перепрыгнуть.

Принимали меня начальник тюрьмы и надзирательница Софья Павловна Добровольская. Добродушный Фищев со своим сизым носом и заплывшими глазками вполне гармонировал с той мирной обстановкой, в которой я очутилась. Он велел сейчас же меня расковать и не производить личного обыска. Минут через десять-пятнадцать приемка кончилась.

Фищев, как-будто шутя, спросил у меня:

— А бомбы есть у вас с собой?

— Нет, но если понадобятся, я их здесь сделаю.

Во дворе меня встретила вся женская политическая тюрьма, большинство были очень юные девушки, кроме одной — Л. П. Езерской. Мое внимание привлекла молоденькая девушка, невероятно высокая и худая, но с прекрасной русой головкой, с карими глазами в коричнево-золотых пятнышках; ей можно было дать на вид 16-17 лет. Ей очень подходило имя Астра.

Всех политических тогда было в Мальцевке человек двенадцать.

Меня сразу повели в камеру. Уже самовар кипел, была приготовлена горячая вода и еда. Вошло в обычай, что по средам, когда ждали этап, — а это было очень важное событие в тюремной жизни, ибо только через вновь приходящих получались известия о других тюрьмах, о воле, о знакомых, — приготовлялась горячая вода, чистое белье, ибо этап для каждого был очень тяжел.

Меня засыпали вопросами. Но не было товарищеской близости, не почувствовала я спайки. Как только я вступила в Мальцевку, я ощутила между мною и прочими товарищами какую-то стену, гораздо толще той, которая окружает тюрьму. Чья это вина, я до сих пор не знаю.

Среди заключенных были какие-то группировки; происходило деление на «свои» и «не свои». Я сразу почувствовала, что я именно «не своя», и это состояние длилось до самого выхода на волю. Но несмотря на то, что я была «не своя», мальцевитянки няньчились со мной во время моей болезни не меньше, чем со «своими». Но внутренне мы оставались чужими. Это происходило на почве идеологических расхождений и в связи с этим — личных переживаний. А внешне я была, конечно, полноправным членом коммуны.

Глава шестая

КАК ЖИЛА МАЛЬЦЕВСКАЯ ТЮРЬМА

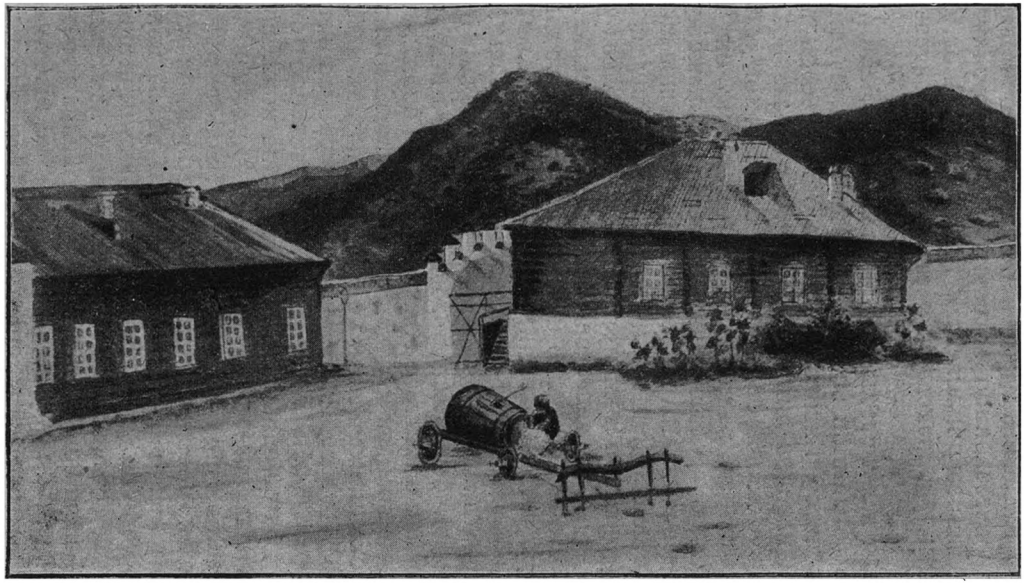
Состав нашей тюрьмы был разнообразен, уж не говоря о партийных группировках, но и по своему социальному положению. Благодаря этому произошло разделение на верхи и низы, аристократов и плебеев. Понятно, к аристократам принадлежали эсэры не только по положению, но и по партийности. Большинство эсэрок были интеллигентки, имевшие уже порядочный революционный стаж, в то время как анархистки почти на все сто процентов были работницы, малограмотные и политически недостаточно развитые.

Нужно сказать, что и у эсэров не все было в порядке, и у них были разногласия, но они не выходили за пределы своей группы. Имелись две группировки — позитивистическая и метафизико-мистическая. Эсэрка, возглавлявшая мистическую группу, пользовалась большим влиянием среди нас. Это была обаятельная личность, если только отбросить ее мистицизм. Вторая же крупная фигура из эсэрок не имела адептов. Она не умела подходить к людям, смотрела на них сверху вниз. Человек с крупной эрудицией по сравнению со всеми нами, широко образованный, она не приносила никакой пользы в работе, как-то замкнулась в себе.

Была и третья фигура, по-генеральски подходившая ко всем и имевшая тоже нескольких адептов, но эти последние скоро отпали, и фигура осталась в одиночестве.

Все связи с волей и с Зерентуйской тюрьмой находились в руках эсэров. У них же концентрировались деньги, шедшие из-за границы и предназначенные для конспиративного фонда; суммы же, которые получались на адрес тюрьмы, шли в общую коммуну. В коммуне равенство было только на словах, на деле же его в 1907 году не существовало. Лишь к концу 1908 года, когда в Мальцевскую тюрьму явились новые люди, а с ними влилась и новая свежая струя, привилегированное положение отдельных лиц отошло в область предания, но личные отношения почти не изменились. Я помню моменты, когда гуляла по двору одна около каменной стены и являлось желание подойти к кому-нибудь поговорить о своих сомнениях и болях, но чувство неуверенности в том, как тебя примут, останавливало, и порывы так же быстро погасали, как и появлялись.

Оставались только книга и наблюдение. Для последнего было широкое поле деятельности. Несмотря на все тяжелые условия, тоску по воле и одиночество, я все же с удовлетворением вспоминаю Мальцевскую тюрьму, как период роста личности. Только в тюрьме тогда можно было заниматься, развиваться и углублять свои



Мальцевская тюрьма

Группа мальцевских каторжанок

1. Шакерман, 2. Новик, 3. Поляк, 4. Майденберг, 5. Эрделевская, 6. Окушко, 7. Погит, 8. Спиридонова, 9. Жвигуль (уг.), 10. Бронштейн, 11. Гсровиц, 12. Биценко, 13. Беневская, 14. Зверева, 15. Бородюкова, 16. Деркач, 17. Штольтерфот, 18. Меттер, 19. Школьник, 20. Новицкая, 21. Тиавайс, 22. Роткопф, 23. Бибергаль, 24. Терентьева, 25. Фиалка.

знания. Обыденные мелочи вольной жизни не мешали нам. Но эта воля для нас была прекрасной, неосуществимой мечтой, оттого она была тем более прекрасна, тем более желанна. Мы, не эсэры, не имели никаких связей ни с волей ни с мужской тюрьмой. Я думаю, что, если бы мы обратились к эсэркам, они не отказали бы нам в помощи связаться через них, но обстановка была такова, что никто из нас не пожелал к ним обращаться. Мы стояли в стороне от всей той конспирации, которая была в тюрьме в руках эсэров. О подготовке и планах побега мы узнавали только тогда, когда побеги проваливались.

Главный женский корпус состоял из шести камер. Три камеры занимали уголовные, три — политические. Когда я пришла в Мальцевскую тюрьму, все эти камеры находились на одном коридоре, и мы могли общаться с уголовными во всякое время. Впоследствии нас перегородили.

В 1907 году мы пытались устроить школу грамоты для уголовных. Было получено разрешение от начальника тюрьмы. Надя Терентьева, Елизавета Павловна Зверева и Сарра Наумовна Данциг начали систематически заниматься с уголовными. Но очень скоро начальник запретил заниматься, и мы продолжали начатое дело нелегально. Нам не разрешили даже с ними видеться, и учительницы украдкой пробирались в уголовные камеры.

Трудненько приходилось, когда дежурила надзирательница Антонина Алексеевна, от настроения которой зависели наши удачи. Если жует серку как-будто щелкает бичом, значит, настроение хорошее; если жует тихо, тогда не двигайся. Дежурит Добровольская — тоже плоховато, труслива она очень, все подходит к нашей форточке и повторяет: «Silence, mesdames». Дворянке по происхождению, ей хотелось говорить «поблагородному», и, зная несколько французских слов, она ими щеголяла перед политическими.

Зато мы радовались, когда дежурила Зелинская. Толстая, неповоротливая «Дыня», как мы ее называли, она

любила всех нас. При ней царила свобода. Отопрет камеры и не запирает больше, — ей лень лишний раз подняться. Милая Дыня, как мы пользовались твоей ленью! Когда однажды неожиданно нагрянул Сементовский, инспектор главного тюремного управления, Павловский выскочил ему навстречу, торопливо прицепляя шпагу на ходу. В тюрьме дежурила «Дыня», камеры, по обыкновению, были открыты, на кроватях валялись цветные платья и одеяла, а на столе стояли букеты из осенних золотистых листьев. На вопрос Сементовского: — Почему у вас камеры открыты, прогулка, что ли? — она ответила: «Нет, это межеумок» (межеумок по-сибирски — ни то ни се).

С уголовными мы близко не сошлись, они в нас чувствовали «белую кость», их мир был, конечно, чужд нам. Равные отношения не устанавливались. Мы для них были чем-то вроде филантропок. Мы, сколько могли, улучшали условия их жизни: выписывали для них сахар, мать заключенной Иры Каховской, жившая в Нерчинском заводе, собирала для них перед пасхой целые возы куличей и другой снеди, все это привозилось в тюрьму и раздавалось уголовным. Первые годы, когда у нас средств было больше, мы в праздничные дни угощали их чаем с молоком, белым хлебом, конфетами, затем шли в их камеру, где они плясали и веселились до позднего вечера. Но мы всегда оставались для них той же «политикой», а они — все теми же уголовными.

Много внимания уделялось детям уголовных, которых было в камерах очень много. Саня Измайлович по целым дням возилась с ними, мыла их, муштровала, забавляла, отдавая им больше внимания и времени, чем их матери.

Уголовные женщины жили совсем иным миром, чем мы. Летом работали на огородах, зимою вязали варежки и щипали шерсть, обслуживали тюрьму. Больше никаких интересов, никаких стремлений. Большинство из них были неграмотные, они не знали иной, лучшей жизни, кроме страданий на воле и тяжких мук в тюрьме.

Каторгу они принимали как наказанье за грехи, работу—тоже и мечтали только о том, чтобы скорее выйти на волю, обзавестись своим домком и жить, как они говорили, семейной жизнью. Немногим это удавалось. Этапный путь, разврат с конвойными и уголовными оставляли следы на всю дальнейшую жизнь. Многие заражались венерическими болезнями, многих праздная жизнь в тюрьме и окружающая развращенная среда спаивала и окончательно губила.

Вначале в каждой нашей камере нас было по 6—7 человек, потом, по мере прибытия новых товарищей, дошло до 18—19 человек. Теснота была ужасная. Посередине камер стоял большой стол, возле него длинные скамейки, у стен какие-то допотопные кровати и козлы с досками, вместо кровати, около каждой койки — столик-шкапик. Эти столики были сделаны из ящиков, в которых мы получали посылки, в них мы держали свои вещи и книги.

В камерах устраивались, кто как желал, подбирая себе подходящих товарищей. Камера пятая носила у нас название «аскетической ученой», — тут собиралась публика, желавшая серьезно заниматься. Была выработана так называемая конституция, по которой строго распределялось время занятий и отдыха. Нарушителей «конституции» призывали к порядку. Пятая камера была образцовой в «конституционном» смысле.

В камере четвертой публика занималась менее серьезно и не так строго соблюдала «конституцию».

Шестая совсем не соблюдала «конституции», так как в ней жила наша маленькая невольная каторжанка Ивочка со своей матерью. Много радости давала нам эта крошка. Она пользовалась большой свободой и привилегией, ей разрешалось гулять по двору, независимо от нашей прогулки. Приход ее в камеры создавал настоящий праздник.

В смысле питания в шестой камере было лучше, чем в других. Там были такие кулинары, как Татьяна Семеновна Письменова, Марийка Бордюкова, которые по-

чти из ничего делали много вкусных вещей. Они гениально поджаривали куски каши или картофель на коровьем сале. Это было любимым блюдом к чаю. Зато когда дежурила Фаня Радзиловская, товарищи выли от голода. Фаня старалась изо всех сил: лицо и руки выше локтей в саже, платье все в пятнах, золотистые кудри теряли свой блеск, покрываясь копотью и пылью. Иногда «добросердечные» товарищи, вроде Марийки Бордюковой, приходили на помощь бедной «жертве», которой это, однако, было весьма неприятно, но, боясь обидеть товарища, она терпела, густо краснея.

В пятой камере я приготовляла из хлебного кваса такой кисель, что из-под него вылизывались чашки, да и насчет супа и сушеных овощей была мастерица. Аппетит к тому же у всех был прекрасный, могли есть что угодно и сколько угодно.

Как-то нам за воротами тюрьмы испекли хлеб из простого размола, вышло восемь булок на всю камеру. Стефа Роткопф сладострастно смотрела на эти булки:

— Четыре булки я с удовольствием съела бы, — заявила она, — а может быть, и все восемь.

А нужно было эти булки распределить на три дня на восемнадцать человек.

В четвертой камере лучшим кулинаром была Сарра Наумовна Данциг. Это был редкий человек. Серьезно больная, она и виду не подавала, что ей плохо. С доброй улыбкой на мягком лице, она всегда за всеми ухаживала. Веселая, приветливая, никогда не сидела без дела — или с кем-нибудь занимается, или читает сама, или готовит пищу для голодной братии. Сарра Наумовна даже сама выдумала блюдо, которое приготовлялось из черного хлеба, лимонной кислоты, сахара и незаменимого коровьего сала, так называемая «кулага». Это блюдо считалось у нас тогда тончайшим деликатесом.

Гораздо больше мы страдали от холода. Голодного червячка кое-как замаривали, а вот с холодом дело обстояло гораздо хуже При 40—45-градусных сибирских

морозах плохо приходилось. Пронзительно дуло со всех сторон; в углах лежал снег, окна были покрыты густым слоем льда, вода замерзала на столе. Всю одежду на себя набросаешь, а согреться не можешь. Бывало, не вытерпишь ночью, начинаешь растапливать железную печурку. Все выползут из-под одеял и блаженствуют: — «Ах, как тепло, хорошо!»

За все годы, проведенные в Мальцевке, я не помню, чтобы в тюрьме производился хоть малейший ремонт. Смета находилась в руках начальства, и оно, очевидно, хорошо на этом нагревало руки.

Грелись мы не только печуркой, но и горячим чаем. Самоваров было у нас много: бродяжки — нечто вроде чайника с трубой, в которую кладется уголь, желтый самовар и двухведерный, никкелированный «дяденька», подарок дяди Нади Терентьевой.

С нами начальство всеми силами старалось ладить. Мы находились далеко от центра, забытые всеми, и кто-то из начальников нашей тюрьмы нам однажды сказал:

— Циркуляры пишутся там, в Петербурге, но не им с вами жить, а мне.

Начальников за мое время перебывало много: Фищев, Пахоруков, Островский, Каблуков, Покровский, Павловский и Егоров, но фактически настоящего тюремного режима никто из них не вводил. Кое-кто пытался, но ничего не удавалось. Павловский пробовал предложить нам вязать варежки, но мы дали такой отпор, что он больше не осмелился являться с такими предложениями.

Нашу размеренную жизнь разнообразили иногда небольшие инциденты. Однажды провалилась почта, переданная нами через уголовных, работавших в огородах, и Павловскому попалось письмо Маруси Спиридоновой. Оно показалось ему подозрительным, он немедленно сообщил об этом в Зерентуй по начальству и получил распоряжение сделать у нас тщательный обыск. Рылись по камерам, искали под карнизами пола, в ре-

шотках, выстукивали пол. Обыск ничего не дал, и провал почты последствий не имел.

Часто хотелось, чтоб завязалась борьба, чтобы всколыхнулась стоячая вода спокойствия, но прецедентов к этому не было, а специально вызывать их было несерьезно и нецелесообразно. Большинство товарищей имели малые сроки, они ждали воли, где настоящая жизнь и борьба. Правда, когда являлось начальство, приходилось менять облик камеры и переодевать платья [1], прятать книги, натягивать на себя кандалы, все это вызывало брезгливое чувство, но мы знали, что это только одна форма, что сущность каждого от этого не теряется, что и в мужских тюрьмах — Зерентуй, Алгачи, Акатуй и др.—тоже не было борьбы и с ними ладило начальство, стараясь итти на всевозможные уступки.

Павловский представлял собой характерный тип сибирского начальника. Небольшого роста, широкоплечий, кривой на один глаз, с широким плотоядным ртом, из которого торчали желтые грязные клыки, и толстыми губами, далеко не умный человек, он сумел себя так поставить, что был на хорошем счету у начальства и считался хорошим начальником тюрьмы у политических и уголовных.

У нас все переговоры с тюремным начальством вел наш политический староста Настя Биценко. Во избежание всяких недоразумений, никто из заключенных, помимо нее, с начальником тюрьмы не разговаривал. Я не помню случая, чтобы Павловский в чем-нибудь отказал Насте в ее требованиях. Исполнял ли он их — это другой вопрос. Если очень круто становилось, требовали обещанного, он посылал своего Санчо-Панса, стар-

[1] Переодеванье наше было невольным. Мы бы согласились надеть казенное платье и белье, но оно нам не выдавалось из „экономии". Сколько воровало начальство, можно видеть хотя бы из того, что при пошивке казенного белья для уголовных оно было до того укорочено и сужено, что пришлось его мочить и растягивать, а старший надзиратель пригрозил уголовным женщинам карцером, если они недостаточно растянут белье.

шего надзирателя Ивана Евгеньевича, для переговоров с нами. И конфликты почти всегда улаживались. Иван Евгеньевич, сибирский казак, всегда с хитрой улыбкой на лице, к нам относился хорошо, уголовных жалел.

Павловский как-будто бы делал нам всякие уступки, но тут же писал на нас доносы начальнику каторги, однако всего он, конечно, не смел сообщать, боялся, что и ему может влететь.

Марья Васильевна Окушко, приговоренная к четырем годам каторги по делу об изготовлении бомб в Петербурге, кончила срок своей каторги, но бумаги задержались, кажется, из-за распутицы. Марья Васильевна, несдержанная, экспансивная натура, переносящая неволю труднее многих, никак не могла согласиться с этой случайной задержкой, слишком трудно было, окончив срок каторги, продолжать еще сидеть. Но это не зависело от начальника тюрьмы. Она обратилась с просьбой к Павловскому, чтобы он до получения бумаг выпустил ее в вольную команду. Он пообещал. Проходит день, два, наконец, неделя, а ее все не отпускают. Она вновь обращается к Павловскому. Тот снова обещает выпустить завтра. Тут уж даже мы все поверили, несмотря на то, что вообще никогда ему не верили.

Мария Васильевна весь день простояла у ворот, нервничала, склоняла по всем падежам свое любимое словечко «стервец», но Павловский не являлся. Пришел Иван Евгеньевич и на требование Окушко, чтобы ее выпустили, рассмеялся: «Начальник пошутил».

— Как пошутил, — нервно крикнула Мария Васильевна, — как он смеет так со мной шутить!

Но шутка оказалась серьезной. Мария Васильевна все продолжала бегать по двору, волнуясь, краснея и тихонько ругаясь. Она всю ночь не спала, ворочаясь на своей постели, проклиная Павловского и тюрьму, и каторгу, и всех тюремщиков вкупе. На следующий день Павловский пришел в тюрьму для каких-то переговоров с Настей. Камеры у нас были открыты, и мы оказались свидетельницами такой картины: Мария Васильевна

евна буквально влетела в коридор, подскочила к Павловскому, плюнула ему в лицо и крикнула:—Стервец!

Мы окаменели. Настя побледнела, у Павловского полились слезы из глаз, и он стал вытирать лицо. Все насторожились: задержат ли ее, предадут ли суду, возьмут ли в карцер? Но этот инцидент не имел никаких последствий. Как видно, Павловский побоялся поднять шум, чтобы не лишиться службы, да, пожалуй, и самому не попасть под суд за то, что распустил тюрьму.

Чем же все-таки жила женская тюрьма, кроме этих будней? Я уже говорила — книгами и самоанализом. Большинство попавших на каторгу составлял молодняк, захваченный революционной борьбой и не успевший закончить свое образование. Здесь же, вдали от жизни и борьбы, каждый старался усовершенствоваться, каждый занимался, смотря по наклонностям. Были такие, которые совсем не учились на воле, они занимались грамотой, арифметикой. Организовались кружки — философские, которыми руководила Зина Бронштейн, биологические, руководимые Марусей Беневской, исторические — Надей Терентьевой, и другие. Кроме того, многие занимались языками — французским, немецким, английским. Библиотека была небольшая, но хорошо подобранная, в особенности много было книг по философии, мировой истории, начиная с Халдеи и кончая настоящим временем, истории литературы, истории культуры, политэкономии и социологии, были также русские и иностранные классики. Получали мы сборники «Фиорды», «Северные сборники», журналы; газеты, конечно, к нам не попадали. Очень редко залетала какая-нибудь листовка или живая весточка с воли.

Помню, когда был убит во время вооруженного сопротивления в Виннице Густав Эрделевский, муж Кати, Павловский после проверки подошел к моей камере, постучал в форточку и передал мне пакет. Оказалось, что кто-то из-за границы послал на мое имя газету, где, на ряду с сообщениями о смерти Густава, имелся целый ряд новостей о работе анархистов за границей.

Хотя от воли мы были совершенно оторваны, но все же изменения и новые течения в революционной работе доходили до нас. Реакция сыграла отрицательную роль, но имела и свои хорошие стороны. Партии очистились от наносного элемента. Как всегда, волна революции захватывает не только по-настоящему убежденных, но и легко загорающихся новыми идеями людей. С наступлением реакции эти люди оказываются за бортом жизни. Произошла полная дифференциация революционных сил на воле, а также и у нас в тюрьме. Самоанализ имел свои благоприятные результаты. Убежденные еще больше закалились, несмотря на тяжелые переживания, слабые, случайные отошли совсем и по выходе на волю зажили обыкновенной мещанской жизнью, а некоторые даже совсем забыли свое прошлое.

Женская мальцевская каторжная тюрьма не пережила трагедии, как Кара и мужские тюрьмы, но она чутко прислушивалась ко всему, и можно сказать с уверенностью, что если бы понадобилась жестокая самоотверженная борьба, никто не дрогнул бы, все единодушно ринулись бы в бой.

*

Зерентуйская тюрьма отстояла от мальцевской в пяти верстах. Многие из наших товарищей переписывались с зерентуйцами, которые чаще получали сведения с воли и делились этими сведениями с нами. Многие из них писали целые рефераты ввиде писем, и мы их читали по камерам или на прогулке для всех. Хотя мы высмеивали их за фракционность, чуждую нам, но все же чувствовали, что это свои, близкие по духу и идеалам. Мы были в курсе всех зерентуйских событий и каждый день с нетерпением поджидали почту.

Главным почтальоном у нас был зерентуйский доктор Николай Васильевич Рогалев. Это был наш друг, которого благословляла вся уголовная каторга и к которому с глубоким уважением и любовью относились политические. Человек, обремененный большой семьей, он рис-

ковал не только своей службой, но и свободой. Кроме передачи почты, он помогал в подготовке побега Спиридоновой, он где-то нашел закон о «богодулах» (этот закон гласил, что заболевающий на каторге должен быть освидетельствован медицинской каторжной комиссией во главе с начальником каторги, и ему сбавлялся срок: бессрочным, например, только до трех лет в кандалах, десятилетним — до года, четырех- и трехлетних чуть ли не сразу же выпускали, если они просидели год-полтора) и по этому закону ему удалось освободить несколько десятков товарищей, в том числе и меня. Этот закон, правда, просуществовал только один год. Перепуганное начальство спохватилось, но так как закон обратной силы не имел, то прошедшие эту комиссию очутились на воле.

Мы жили безусловно в лучших условиях, чем мужская каторга; не было той напряженности, тех разногласий, что у них; партийных вопросов у нас не трогали. Могли спорить с пеной у рта о философии, истории, литературе, по всяким моральным темам, но было молчаливое согласие партийных вопросов не касаться.

В тех тюрьмах, где был введен каторжный режим, подбирались подходящие тюремщики, о зверствах которых было известно по всей России; этим особенно отличались тюрьмы орловская, херсонская, екатеринославская, Бутырки и еще ряд других. У нас же было относительно благополучно.

Однажды у нас произошел такой случай. Часовой, расхаживая ночью вокруг зерентуйской тюрьмы, вдруг начал обстреливать корпус. Когда прибежало начальство, он объяснил, что видел тень на стене. Нас это взбудоражило, а в Зерентуе вызвало тревогу: как бы спокойно ни протекала жизнь в тюрьме, никогда, ни на один час нет уверенности, что тебя или твоего товарища не убьют, а нужный мотив всегда найдется. Мы устроили экстренное собрание, на котором обсуждали, как в дальнейшем реагировать, если подобные факты повторятся, и какие меры принять, если начнется реакция

в мужской тюрьме. В особенности мы боялись, что первыми мерами у начальства будет порка, которая кое-где уже применялась. Мальцевитянки решили протестовать, если бы такие меры были приняты, но, к сожалению, средств у нас было очень мало. Мнения разделились. Одни решили объявить голодовку без всяких требований, т. е. умереть голодной смертью, другие предлагали вызвать кого-либо из начальства, наброситься на него со столовым ножом, хотя и понимая, что ни убить ни ранить таким оружием нельзя, но добиваясь определенной цели, — чтобы нас расстреляли. Оба решения не противоречили друг другу, и только благодаря тем условиям, которые впоследствии создались, этих мер не пришлось применить.

За годы моего пребывания в Мальцевке нас много раз посещало разное начальство. Мы предварительно условливались с начальником тюрьмы, что встретим начальство стоя, но если будет команда «смирно», мы все сядем. Это было, конечно, некоторым компромиссом с нашей стороны.

Нас посетили генерал-губернатор Селиванов, читинский губернатор, генерал-губернатор Князев, начальник главного тюремного управления Хрулев и инспектор главного тюремного управления Сементовский. Последствий после приезда начальства никаких не было. В 1910 году Сементовский приехал вторично и застал тюрьму врасплох. Это явилось причиной для ускорения перевода нас в акатуевскую тюрьму. Еще в 1909 году в главном тюремном управлении решили, что мальцевская тюрьма не годится для жилья из-за ветхости. Вопрос о нашем переводе был на очереди, но куда нас переведут, не было известно до 1911 года.

Сементовский подал рапорт в главное тюремное управление, что тюрьма распущена, что режима нет, что в мальцевской тюрьме вследствие ее неприспособленности не тот каторжный режим, который должен быть.

В 1910 году все нерчинские тюрьмы были уже переполнены, не было еще такого закона, чтобы отделять дол-

госрочных от малосрочных, как в тюрьмах Европейской России. Даже слабые, неспособные к труду, так называемые «богодулы», находились вместе со всеми. Тутто и решили «богодулов» (слабосильных, неспособных к труду) перевести в мальцевскую тюрьму, а нас — в акатуевскую. Но еще до перевода нас решили подтянуть. Начальника тюрьмы Павловского убрали и на его место назначили нового начальника — Егорова. Павловский нам сообщил тихонечко перед своим уходом, что к нам назначают усмирителя. Из Зерентуя нам также писали, что носятся скверные слухи о нашем новом начальнике.

Приемка и передача тюрьмы прошли благополучно. Егоров держался очень корректно по отношению к нам. Тюрьму он несколько подтянул. Камеры открывались только для прогулок, и свободное хождение из одной камеры в другую прекратилось.

Стали носиться упорные слухи о нашем переводе в Акатуй. В Зерентуе и в других тюрьмах началась борьба. Уже были жертвы, уже была введена порка, правда, временно приостановленная после смерти Егора Сергеевича Сазонова.

Глава седьмая

АКАТУЙСКАЯ КАТОРГА

В апреле 1911 года стало известно, что нас переводят в Акатуй, в так называемую дисциплинарную тюрьму. Готовиться особенно не приходилось, все наши заботы сосредоточивались на библиотеке, нашем единственном богатстве.

Как видно, каторжное начальство боялось побега с дороги. За неделю до нашей отправки в Акатуй к нам приехал помощник начальника каторги Языков, вызвал Настю Биценко и предложил не заковывать наших бессрочных каторжанок, если мы дадим слово, что не убежим с дороги. Слова ему не дали, но все же нас не за-

ковали. Мы узнали, что им же было отдано распоряжение конвойным не ругаться в нашем присутствии.

До первой остановки наш этап провожал начальник конвойной команды Грешнев, а дальше какой-то маленький, плюгавенький, рыжий офицерик.

В апреле в Сибири еще довольно холодно и ветрено, первые два дня итти было трудно. Ветер засыпал нас песком, набивавшимся в зубы, в глаза, в уши. Но мы нашли выход. Один из товарищей поочереди был поводырем, все закрывали глаза и брались за руки по нескольку человек и только передний шел с открытыми глазами. Нам дали несколько подвод для вещей и больных товарищей. В это время моя астма и бронхит настолько разыгрались, что я могла только лежать. Меня вынесли на руках из мальцевской тюрьмы, уложили на подводу и повезли.

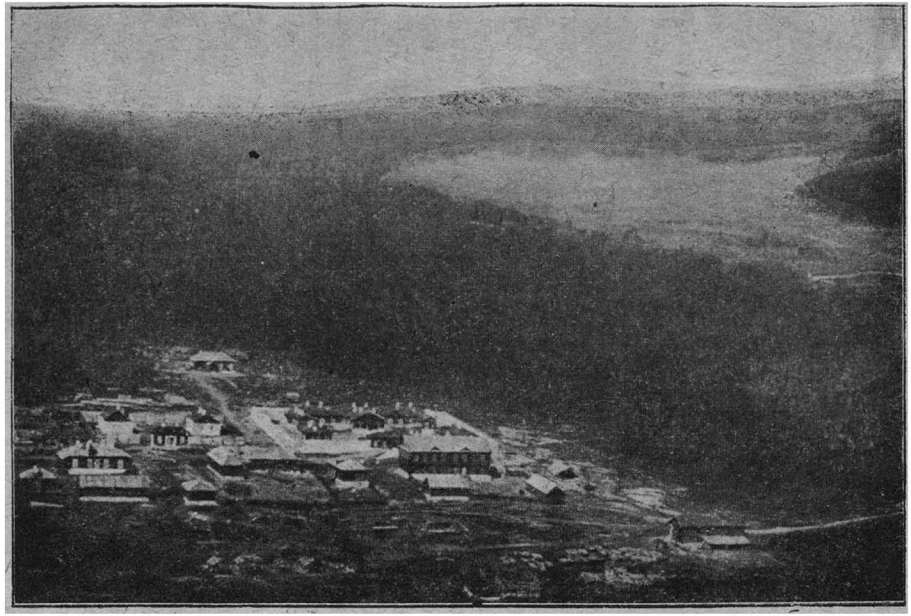
Переводили из мальцевской пока только одних политических. Это облегчало начальству наблюдение за нами, а для нас было приятно, что мы шли без уголовных, с которыми у конвоя всегда создаются легкие отношения. Теперь же конвойные должны были быть начеку, не ругаться, не пьянствовать. Наш конвой старался нас убить своей «культурностью». Одному из них понадобилась английская булавка, он подошел к Поле Шакерман и, галантно изгибаясь, спросил ее:

— Мадмуазель, нет ли у вас аграфа?

Бедная Полечка в первый раз в жизни слышала такое слово и никак не могла понять, что ему было нужно.

Настроение у всех было возбужденное, радостно вдыхали полной грудью свежий, бодрящий воздух, глаз отдыхал на шири полей, которых мы уже несколько лет не видели. Рвали подснежники, пьянея от медового запаха наливающихся почек багульника и других кустов.

Шли мы свободно, по сравнению с этапом из России. Часто останавливались по нашему указанию. Проходя по селам, мы покупали всякую снедь: молоко, масло, яйца, шаньги и т. д.



Акатуйская тюрьма

Маруся Спиридонова надеялась бежать по дороге. Еще когда только стали распространяться слухи о нашем переводе в другую тюрьму, она сообщила об этом на волю, предполагая, что Сидорчук к этому времени уже бежал за границу.

Эсэр Сидорчук судился в Житомире за убийство пристава, организатора еврейского погрома. Он был приговорен к смертной казни, замененной 15 годами каторги, но благодаря манифестам ему не пришлось отсидеть все 15 лет. В 1910 году он вышел на волю, бежал с поселения в Италию. Купаясь в Средиземном море, он утонул. О его смерти мы еще не знали.

Сидорчук должен был приехать и устроить побег Маруси Спиридоновой.

Когда мы дошли до Александровского завода, в 15 верстах от Акатуя, стало ясно, что помощи с воли для побега нечего ждать; побег, и на этот раз, оставался только мечтой. У эсэрок был спрятан браунинг в разобранном виде, его удалось пронести, так как нас почти не обыскивали. Но мы не знали, что нас ждет в Акатуе. Посовещались и решили револьвера не брать с собой в Акатуй, решили спрятать его где-то за печкой.

Для многих акатуевские ворота закрылись на долгие годы.

Акатуевская тюрьма совсем не была похожа на мальцевскую. Она находилась в прекрасной высокой местности, ее деревянное здание было видно на далеком расстоянии, когда мы шли редким и мелким леском. Тюрьму окружали казармы для конвоя, барак для вольной команды, еще какие-то постройки. Деревня, отстоявшая в двух верстах от тюрьмы, была населена украинцами-переселенцами; некоторые из них служили надзирателями в тюрьмах.

День был серый, холодный, накрапывал мелкий дождик. Мы подошли к воротам тюрьмы, и привратник, белобрысый, толстый латыш Цельман, пропуская нас по одной и считая, притрагивался к спине каждой. Когда очередь дошла до Иры Каховской, она уклонилась от

его руки, что дало ему повод закричать на нее. Когда явился начальник тюрьмы, штабс-капитан Шмадченко, то вместо того, чтобы скорее нас принять и вести в камеры, он грозно обратился к Аустре Тиавайс:

— Кто посмел уклониться, когда надзиратель хотел посчитать?

— Это вам не мальцевская, — продолжал Шмадченко, — своевольничать тут я не позволю, я вас подтяну!

Речь продолжалась в течение получаса, ее содержание не трудно передать, — она сводилась к тому, что нас в мальцевской распустили, но он нас так подтянет, что мы скоро забудем про мальцевскую. Шмадченко не был красноречив. Мы ответили на речь гробовым молчанием, а в особенно патетических местах невольная улыбка появлялась на наших лицах. Если в начале речи мы с удивлением смотрели на Шмадченко, то в конце ее мы поняли, что имеем дело с большим дураком и самодуром.

Наша приемка происходила тут же в корпусе, в надзирательской дежурке. Несмотря на то, что товарищи и даже надзирательницы настаивали, чтобы меня скорее ввели в камеру, как больную. Шмадченко принял меня последней. У меня с собой были большой матрац и пуховая подушка. Шмадченко отдал распоряжение, чтобы эти вещи отняли у меня, но я запротестовала, заявив, что мне это разрешено врачом и начальством каторги, так как у меня астма и я на соломенной постели не могу спать.

Шмадченко со злости хотел обратиться ко мне на «ты», но, увидев, что я вспыхнула и не собираюсь молчать, сдержанно заявил:

— Хорошо, вы пойдете в больницу со своими вещами, а там вас посмотрит врач.

Так началась новая жизнь. В Акатуе я прожила только несколько месяцев. В апреле пришла, а в ноябре вышла на поселение. Мое здоровье было в таком состоянии, что я в общей камере не могла находиться и

все лежала в больнице. Следовательно, в той борьбе, которая началась в Акатуе, я не могла принимать участия, потому мне о ней придется мало говорить.

Первые шаги Шмадченко указывали на то, что он намерен ввести в жизнь обещанное. Он приказал, чтобы постели во время нашей прогулки обыскивались надзирателями. Товарищи запротестовали, требуя, чтобы обыскивали надзирательницы. Шмадченко не соглашался и не являлся, когда его вызывали в камеру.

В мальцевской политической староста был молчаливо узаконен, следовательно узаконялся и наш коллектив. А Шмадченко не признавал ни того ни другого. Товарищи стали спать на голых нарах. Когда я уехала из Акатуя в ноябре месяце, они все еще спали без матрацев.

В мальцевской нам разрешали тратить больше законной нормы в 4 р. 20 к. на человека, зато в Акатуе закон соблюдался буквально. Деньги выписывались не на коллектив, а индивидуально. У нас некоторые получали довольно большие суммы, которые шли в общий котел, а некоторые совсем не получали ничего. Нам удалось сообщить на волю, и вскоре стали присылать равномерно каждому в отдельности. В эти 4 р. 20 к. входили не только продукты для улучшения пищи, но и канцелярские принадлежности и табак.

В мальцевской мы писали письма, сколько хотелось. Здесь же разрешалось писать два раза в месяц по одному письму в дежурной комнате и в присутствии надзирательниц. Чернила и перья не давались в камеру. Свое белье у нас сразу забрали и выдали казенное; правда, оно было новое, но сшито из серого мешочного полотна, о каком на воле никто и понятия не имеет. Мы очень страдали из-за него, у некоторых сделалось даже нечто вроде экземы. Впоследствии, когда это белье простирывалось несколько раз, оно становилось мягче и не вызывало раздражения кожи.

Мы предполагали, что с приездом ожидаемого начальства из управления каторги изменится положение

с матрацами, но оно не изменилось. Как видно, инструкции были даны по всем тюрьмам, и о прежних «свободах» нечего было и мечтать.

Кормили в Акатуе, как и в мальцевской: тот же кипяток утром, баланда в 12 часов и кашица с коровьим салом. Однажды прибежала ко мне в больницу надзирательница, раскрасневшаяся, взволнованная:

— Вы общего супа не брали?

— Нет, а что случилось?

— Видите, сегодня был суп с кислой капустой, которая стояла в погребе. Когда его осталось немного на дне, кто-то заметил, что в котле плавают лапки и шерсть. Оказалось, разваренная крыса.

Надзирательницы помчались по всем камерам отбирать суп, боясь массового отравления. К счастью, еще никто не приступил к обеду, и суп у всех был забран, зато в вольной команде некоторые уже успели поесть; бедная Геня Горелик расплакалась, когда ей сказали, что суп был приправлен крысой.

Шмадченко заявили о том, что он кормит людей дохлыми крысами. Он в категорической форме опровергал, утверждая, что это не крыса, а «тюремная трагедия». На следующий день, когда вынесли из погреба кислую капусту, в ней нашли вторую крысу и пригласили Шмадченко.

Ему пришлось признать действительность.

Шмадченко, как и все начальники, грел руки на арестантском пайке, но ему казалось это недостаточным, он решил арестантским же трудом выпекать белый хлеб и продавать его нам.

Я получала больничный паек, белый хлеб и молоко. Однажды мне принесли сырой белый хлеб. Я отказалась его принять. Тогда Шмадченко отдал распоряжение не выдавать мне белого хлеба и не продавать даже за мой счет. Из-за такого пустяка поднимать волынку не хотелось, я об этом факте даже не сообщила товарищам в корпус, решив, что, авось, не заболею, так как сидеть мне оставалось уж недолго. Через два дня я за-

болела, по определению фельдшера, дизентерией. Впоследствии у меня начался острый колит, и я им болею до сих пор. Со мной тогда жила Дина Сошникова. Ей приходилось несколько раз в ночь вызывать ко мне фельдшера и просить впрыснуть морфий, чтобы хоть немного успокоить невыносимые боли. Стоны и крики мои разносились по всей больнице. Вместе с фельдшером явился и Шмадченко. Дина набросилась на него:

— Это вы ее отравили, вы запретили ей отпускать белый хлеб, зная хорошо, что она больной человек!

Шмадченко испугался обвинения в намеренном отравлении черным хлебом, который мне врачом был запрещен. Он стал оправдываться тем, что я больше не обращалась к нему за белым хлебом, что он только в тот день, когда я вернула хлеб обратно, велел не выдавать другого.

Однако, при выходе из больницы, Шмадченко громко сказал фельдшеру:

— Пусть подыхает, только не теперь.

Жизнь в больнице проходила настолько однообразно тягуче, что часто являлась мысль: воля или смерть! Тут было медленное умирание. Медицинской помощи почти не было. Да и какое лечение в тюрьме? У меня была слабая надежда, что, если вырвусь на волю, я смогу подлечиться. Останусь ли я на поселении, уеду ли в Европейскую Россию или за границу — этого вопроса я решить не могла, так как сама воля была у меня под сомнением.

Глава восьмая

НА ПОСЕЛЕНИЕ

15 ноября 1911 года я освободилась из тюрьмы. Не знаю, как пережили другие товарищи свое освобождение, но мне казалось, что я преступница по отношению к остающимся. Тем более, что я не так давно была такой же бессрочницей, как и многие из оставшихся. «Зачем нужно

было итти на комиссию, зачем все это нужно было!»— сверлила мысль. Но это было только в первый момент. По выходе из тюрьмы явились и другие мысли, другие надежды. На воле я свяжусь с конвойной командой Акатуя и создам организацию для освобождения оставшихся.

За время моего пребывания в Акатуе мы сдружились со многими конвойными солдатами, в особенности с фельдшером. Это был хороший деревенский парень, чуть-чуть затронутый революционным движением и уже стремившийся к иной жизни. Он часто под тем или иным выдуманным предлогом приходил ко мне в больницу, сообщал новости с воли, я передавала через него записки в вольную команду и получала ответы. Он кончал срок своей службы и должен был вернуться на родину в Вятскую губернию. Он жаловался, что на родине ему нечего делать, что там беспросветная тьма, что не чувствует себя в силах вести какую-нибудь революционную или хотя бы культурную работу. По его просьбе, мы связали его с товарищами на воле.

Вновь этапы, бесконечные этапы. Мы шли на поселение. Конвой держался свободнее, побегов он теперь не боялся. Если летом трудно ходить из-за жары, так еще во сто крат тяжелее зимой. Пройти триста верст пешком по сибирскому тракту — нелегкий путь. Партию гонят, чтобы скорее попасть на этапку, но и там невозможно согреться: построенные из бревен, заткнутые мхом, стены этапок являются хорошим вентилятором, но согреться в них нет никакой возможности. Приходится немедленно растапливать печь, иначе мороз и ветер гуляет в комнате, как в поле.

На одной из этапок к нам присоединили партию уголовных поселенцев, шедших с Казаковских приисков. Среди них брел какой-то бродяга. Нас, политических, здесь было только три женщины — я, Катя Эрделевская и полька Ротте или Роде. Бродяга обратил на нас внимание. Думаю, дело плохо. Один арестант, добродушный на вид и скромный, привлек мое внимание. Он, как видно, тоже заметил, что бродяга что-то затевает про-

тив политических. У многих уголовных было представление, что у «политики» много денег. Я подошла к Петрову и заговорила с ним по этому поводу. Он мне сказал, что уже давно наблюдает за бродягой, что на защиту конвоя нам нечего рассчитывать, конвой уже весь перепился, и поэтому полагаться можно только на себя. Кате Эрделевской я ничего не сказала, она была больна, у нее даже начался бред. Польке я тоже ничего не сказала, она была мне не симпатична, и я знала ее очень мало. Мы сговорились с Петровым, что будем караулить поочереди. Кроме того, Петров заявил бродяге, что его планы разгаданы, и что ему придется иметь дело с ним, если он посмеет тронуть политических.

Этапка была разделена на две небольшие комнаты. В первой поместились мы, а в другой уголовные. Катя лежала на лавке и бредила. Ротте устроилась на ночлег, я же просидела у стола всю ночь не засыпая, внушая себе, что уснуть никак нельзя. Малейший шорох в другой комнате заставлял меня вскакивать. Как я тогда жалела, что у меня нет моих кандалов, они бы могли оказаться в данный момент хорошим средством защиты. Правда, у Петрова был кинжал, он мне сказал об этом, но не мог же он мне его отдать после своего разговора с бродягой. Мне казалось, что утро никогда не наступит. После морозного дня меня сильно клонило ко сну, я едва сидела, а заснуть было опасно. На сонных бродяга мог наброситься, но, видя, что я не сплю, он, как видно, не решался на этот шаг.

Наконец наступило долгожданное утро, стали собираться в путь. Уголовные где-то достали водку, и началась попойка до отправки партии. Кто-то из уголовных заскочил в этапку и крикнул, что бродяга бросился на Петрова с кинжалом. Я выбежала на улицу, но все кончилось благополучно. Конвой отказался дальше вести бродягу, и его оставили в этапке.

Пока мы дошли до Сретенска, начались сильные морозы, доходившие до 40 градусов. Это было уже в первых числах декабря. Мы, политические, были одеты до-

вольно тепло, но уголовные, в казенных полушубках и в броднях (род сапогов), совершенно замерзли. На этапке в Сретенске был такой холод, что и мы плясали всю ночь по камере. В Сретенске у меня и у Кати Эрделевской было свидание с приятелем Дины Сошниковой.

Инженер Володя, фамилии не помню, очевидно, из сочувствия к революционному движению или из дружеских отношений к Дине, встретил нас очень тепло. Принес нам передачу, сообщил последние новости. Мы ему стали рассказывать в присутствии офицера, что нас замораживают, как клопов, в этапке. Офицеру, как видно, стало стыдно. Он распорядился дать нам дров для печки. Мы согрелись и отправились дальше.

Я и Катя Эрделевская ссылались в Кудару, Селенгинского уезда. Последний наш этап — в 28 верстах от Кудары — был Кабанск. В Кабанск мы пришли засветло, и я решила использовать свое вольное положение, съездить в Творогово, недалеко от Кабанска. Знала я, что там должны быть Толя Рудковская, Геня Горелик и еще несколько товарищей. Нужно было достать немного денег, пока мы получим от родных, и, кроме того, ознакомиться с бытом ссылки.

В Кабанске этапного помещения не было, и нас завезли в волость. Стражник разрешил мне поехать в Творогово, с тем, чтобы к 10 часам утра я вернулась обратно.

В Творогово я добралась, когда уже стемнело. С трудом нашла избу, где жила Геня Горелик; Толи уже там не было, она переехала в Речку. Изба мне показалась хуже тюремной камеры. Бревенчатые стены, низкий потолок, маленькие замерзшие оконца. Большой некрашеный стол, длинные скамейки вдоль стены и нечто вроде кровати, сделанной из досок, вот и все. Комната освещалась восьмилинейной керосиновой лампочкой.

Вечером собрались все ссыльные, жившие в то время в Творогове. Расспрашивали о тюрьме, об оставшихся там товарищах, о жизни в Акатуе. Я, в свою очередь, узнавала о жизни ссыльных, о работе. Условия были очень тяжелые. Коммуны не существовало. Сюда

только недавно начали ссылать политических. В Баргузине все были в одном месте, здесь же — разбросаны по четыре-пять человек в деревне, так что создать коммуну пска не удавалось. Работы никакой не было, найти ее не надеялись.

Просидели мы, разговаривая, всю ночь. Впервые после многих лет тюрьмы я была в комнате без решоток. Распрощалась с товарищами и к 10 часам утра вернулась в Кабанск.

Мы двинулись в Кудару. Пока мы добрались, короткий зимний день кончился. В волости нас уже ждали товарищи Малецкий, Степанов и другие. Писарь нас отпустил сразу, попросив только притти утром.

Итак, воля!

Как мы устроимся, что будем делать — мы еще ничего не знали. Первую ночь я и Катя Эрделевская провели в квартире Малецкого. На следующий день товарищи нашли нам помещение, и мы перешли на более самостоятельную жизнь. Местные жители, в особенности еврейская часть, относились к нам прекрасно, наперебой приглашали нас в гости, но мы были очень дики, мы отвыкли от людей.

Товарищи по тюрьме — ведь это свои, близкие, тюремную администрацию мы и за людей не считали, а здесь — совсем новые, незнакомые нам люди. Смущались мы и краснели, думаю, больше, чем институтки.

Выписали мы газеты, стали получать письма, деньги от родных, втягивались в жизнь. Написала я письмо Асе Щукиной в вольную команду, не помню, что я там писала, но это письмо провалилось.

Я познакомилась с местной учительницей Зоей Гавриловной Степановой. Это была чуткая девушка с прекрасной, отзывчивой душой. Она сама не была в партии, но очень сочувствовала революционному движению. Жених ее Ефим Георгиевич был членом эсэровской верхнеудинской организации. Меня познакомили с ним, и я решила пока из Сибири не уезжать, а связаться с революционными организациями для устройства побега

товарищей из Акатуя. Тем более, что я считала связь с акатуйской конвойной командой прочной.

Через несколько дней после отъезда жениха Зои я получила от него письма с адресами, которые не успела зашифровать. А в 10 часов утра ко мне явился пристав с понятыми для обыска. Письмо Ефима хранилось в моей сумочке на стене. Мне удалось выхватить его и порвать на четыре части. В комнате топилась железная печка, возле которой сидел тов. Степанов. Я швырнула ему письмо и крикнула: «Жгите!» Ко мне бросился пристав и схватил меня за руки. Степанов растерялся и, вместо того, чтобы бросить письмо в огонь, бросился ко мне на помощь. Пристав сжал мне так руки, что образовались кровоподтеки. Понятые в это время схватили разорванное письмо, его впоследствии склеили и из-за этого письма арестовали Зою, меня, Ефима и какого-то почтового чиновника.

И меня и Зою арестовали не сразу. Я пока продолжала жить на воле и встречалась с сочувствующей публикой. Недалеко от Кудары было небольшое село, тамошний учитель считал себя эсэром. Был в том селе и священник, отец Иоанн, выходец из бурят, который тоже сочувствовал революционному движению. Он был в большой дружбе с учителем, они устраивали читки для местных жителей, сами читали нелегальную литературу и давали ее надежным крестьянам.

Сибирские крестьяне были по своему положению и настроению гораздо более независимы, чем крестьяне Европейской России. У них помещиков не было, поэтому не было и гнета. Они держали себя свободно с попом и учителем; меня поразило первый раз, что они здоровались с попом за руку, а не подходили под благословение и не целовали ему руки.

У отца Иоанна я бывала часто. Он первый с учителем пришел ко мне познакомиться и предложил свои услуги. Умный, развитой священник, которому ряса совершенно не подходила, носил ее только потому, что некуда было деться расстригой, как он говорил. Кроме того, будучи

священником, он мог гораздо больше сделать для крестьян. Конечно, я с ним не соглашалась, указывая на позорную роль священника вообще.

Отец Иоанн советовал мне бежать, не дожидаясь ареста. Но у меня не было денег для побега, а кроме того, после обыска меня караулили, и в волости был известен каждый мой шаг.

Через десять дней вновь явился пристав и арестовал меня и Зою. Заведующий Кударинской школой приложил все усилия к тому, чтобы нас не вели этапом, а увезли на вольных лошадях. Это ему удалось. Нам дали большие сани — сибирскую кошеву, двух конвоиров и отправили в Верхнеудинск. Еще в Кударе пристав разрешил нам переночевать у матери Зои, по просьбе того же заведующего школой. Наш приезд был для Екатерины Викентьевны полной неожиданностью. Но я была еще более приятно поражена, попав после каторги в уютный дом, в культурную обстановку. Электрическое освещение, светлые высокие комнаты, теплота и чистота и при этом дружеская беседа с милой, хорошей Екатериной Викентьевной. Братишка Зои, реалист Витя, не мог примириться с мыслью, что мы сами идем в тюрьму. Младшие дети ухаживали за мной наперебой.

Но наступило утро, и из этого уюта, от обласкавшей меня семьи нужно было итти в тюрьму. Потом я очень жалела, что не бежала в эту ночь. Тяжело было после каторги вновь итти в тюрьму. Я всего один месяц и 18 дней была на воле после шестилетней каторги.

В тюрьме нас ждали. Там уже сидели Ефим и почтовый чиновник. Нас с Зоей поместили в одну камеру-одиночку. Просидели мы две недели, а губернатор нам прибавил еще до месяца сроку. Кончился месяц, министерство внутренних дел нам прибавило до трех месяцев. Я теперь тяжелее переносила тюрьму, чем каторгу. Я не могла видеть форму тюремного надзирателя без того, чтобы меня не охватывала дрожь. Я просыпалась ночью в каком-то кошмаре, меня что-то страшно давило, мешало спать.

Может быть, многим из моих товарищей покажется странным, как это я могла после каторги так малодушничать и не переносить тюрьму. Да, это была слабость воли, но это длилось только первый месяц. Потом я опять стала привыкать.

Жандармский ротмистр на допросе показал мне мое письмо к Асе. Из допроса я поняла, что в Акатуе арестованы некоторые солдаты, в том числе и ротный фельдшер Сережа. Значит, общий провал. Подробностей я не знала, но удастся ли жандармам создать процесс, трудно было сказать. Тут, конечно, многое зависело от того, как будут держать себя арестованные. У меня, кроме письма от жениха Зои, ничего не взяли.

Я написала в жандармское управление запрос, почему меня держат, пусть мне предъявят обвинение. Начальник тюрьмы получил ответ для передачи мне, что я перевожусь в Якутскую область. Значит, в Акатуе ничего нет страшного, раз им не удалось создать дела. Зою и Ефима выслали, кажется, в Томскую губернию. Только почтовому чиновнику создали какое-то дело, но пока его выпустили на поруки до суда.

Мне нужно было готовиться к ссылке в Якутскую область. Три месяца, назначенные министерством внутренних дел, кончились. Мы ждали с нетерпением формального объявления о высылке или же о продлении срока, но нам ничего не сообщали. Наступил уже последний день. Напряженно ждем. Вызываем начальника тюрьмы, вместо него приходит помощник. Я ему указываю на закон, что, раз нам ничего не объявляют, значит, против нас ничего нет, и мы теперь являемся свободными людьми, а поэтому нас нельзя держать в тюрьме ни одного часа, иначе тюремная администрация за это отвечает. Помощник со мной соглашается, что по закону они не имеют права нас держать, «но ведь это Сибирь, а не центр, — прибавляет он, — здесь возможны отступления от закона».

С утра у нас вещи уже были уложены. Теперь Зоя их разобрала, не веря в освобождение. Да, очевидно, не

выпустят. Проверка кончилась, нас опять заперли. Вдруг раздается гармоничный для нас в тот момент голос надзирателя: «Двух политических на волю». Политических женщин, кроме нас, никого не было. Мы быстро собрали вещи, побежали в контору. Конвой должен был нас вести в полицейский участок на освобождение.

На улице нас ждала вся семья Зои, тут и выяснилось, почему нас выпустили после поверки, и вообще, каким образом мы попали на волю. За несколько дней до окончания назначенного нам срока разыгралась Ленская история (расстрел рабочих на Ленских приисках жандармом Трещенковым). Губернатор и генерал-губернатор уехали на Лену. Заволновалась тогда не только Сибирь, но и вся Россия.

Наши бумаги о высылке должны были притти из канцелярии иркутского генерал-губернатора, так как право на высылку принадлежало генерал-губернатору. Но им было не до нас. Начальник верхнеудинской тюрьмы посылал телеграмму за телеграммой. Из Читы ему ответили, что наши бумаги в Иркутске. Из Иркутска, что наши бумаги в Чите. Начальник тюрьмы с самого утра носился по городу, ища выхода из создавшегося положения и не зная, что с нами делать.

В конце-концов он принужден был нас освободить.

В участке Зою и Ефима, как местных жителей, сразу освободили, мне же пришлось подождать какого-то начальника. Когда тот явился, он мне заявил, что меня отправят этапом в мою волость, так как я ссыльно-поселенка. Я стала настаивать на выдаче проходного свидетельства, чтобы уехать через два дня за свой счет. После долгих пререканий и при вмешательстве Екатерины Викентьевны мне удалось настоять на своем.

Мы отправились к Зое домой. Там собрались все друзья и решили, что я должна этой же ночью бежать. Не было ни сил ни желания вновь сесть в тюрьму и затем отправиться в далекую Якутскую область. А что меня не сегодня—завтра опять арестуют, в этом не было

никакого сомнения. Ведь наше освобождение было случайным: не будь Ленского расстрела, наши бумаги пришли бы во-время, и мы бы еще сидели.

В полночь товарищи перевезли меня на конспиративную квартиру, и я стала нелегальной. Передо мной стоял один вопрос — достать денег для побега за границу. У меня дома вся семья знала, что я вновь арестована, скрывали только от матери, которая все время ходатайствовала, чтобы ей разрешили пожить в Сибири с больной дочерью, но ей, конечно, отказали. Ведь мать была еврейка, а евреям жить в Сибири нельзя было. Теперь же, получив от меня телеграмму об освобождении, матери рассказали обо всем. Я просила прислать денег, но до их получения нужно было скрываться.

Вначале я скиталась по разным квартирам в городе, а затем меня направили в деревню за Петровским заводом. Там учительствовал свой парень, эсэр Ваня «Маленький». Жил он на квартире у священника. Когда я явилась к Ване, его не было дома, но отец Алексей принял меня радушно, как-будто мы были старые друзья.

— Вы, конечно, скажете, что вы родственница Ване! — сказал он мне.

Я сделала большие глаза:

— Ведь я действительно троюродная сестра Вани.

Отец Алексей улыбнулся.

— Хорошо, мы потом поговорим, а теперь скажите, как ваше имя, отчество и фамилия.

Я назвалась Таисией Ивановной Кусакиной — так значилось в паспорте, который я получила в Верхнеудинске на имя жены какого-то рабочего. Тут же отец Алексей позвал свою сожительницу и заявил ей, что приехала сестрица Ивана Андреевича, и если будут спрашивать, кто приехал, чтоб она так и говорила.

Я здесь прожила около месяца. Пришлось принимать участие в выпускных экзаменах в церковно-приходской школе. Я вошла в свою роль, сыграла ее до конца, экзаменовала даже по закону божьему. Приходилось знакомиться с попами, которые приезжали в гости к отцу

Алексею, со всеми его приятелями, как-будто я была своя. Я только избегала встречи с приставом, хотя здесь был совсем другой район.

Школьные занятия кончались. Ване нужно было уезжать, а следовательно, и мне. Я начала серьезно готовиться к дальнейшему путешествию. Из Верхнеудинска сообщили, что деньги для меня получены. Здесь же в деревне я познакомилась с сестрой Андрея Андреевича Лопатина, Анной Андреевной Марковой, которая приезжала в качестве фельдшерицы. Она дала мне свой паспорт, бессрочную книжку, чем облегчила мой побег наполовину. Я решила ехать в Иркутск. Меня должны были встретить на вокзале Верхнеудинска, передать деньги.

В Петровском заводе я получила через местного учителя явки в Иркутск. Денег у меня хватало только на билет и оставалось 20 копеек. Но меня это не беспокоило, так как я знала, что в Верхнеудинске на вокзале я получу деньги. Каков же был мой ужас, когда в Верхнеудинске меня никто не встретил! Раздумывать было некогда, нужно ехать дальше, авось кривая вывезет.

От Верхнеудинска до Иркутска двое суток езды. У меня — ни крошки хлеба. Пассажиры, ехавшие со мной, удивлялись, почему я ничего не ем, я держалась за щеку и, когда на меня обращали внимание, стонала «от ужасной зубной боли», будто так распухло во рту, что могу пить только холодную воду, — а в действительности у меня живот подвело от голода.

Наконец я доехала до Иркутска. Пешком итти было далеко, и я так ослабела, что навряд ли и дошла бы, тем более, что у меня были вещи. Решила взять извозчика, надеясь расплатиться на месте, но когда я подъехала к дому по явке, на мой вопрос — живет ли тут такой-то, дворник ответил, что он два дня тому назад уехал в Томск.

Пришлось ехать по другому адресу. К моему ужасу, и другой товарищ совсем уехал из города.

Что делать? Расплатиться с извозчиком нечем и деться некуда. Мысль бешено заработала. Какое счастье!

Я вспомнила, что в Москве в Бутурской тюрьме со мной сидела иркутянка — Надя Ров. Она мне дала адрес своей матери, я его не записала, но запомнила. Прошло уже 23 года после моей встречи с Надей, а я до сих пор помню адрес Марии Михайловны Ров — Пятую Солдатскую улицу — и не забуду, вероятно, до могилы.

Надя своей матери писала обо мне. Да я и так знала, что семья Ров — свои люди. Дала извозчику новый адрес. Он уже посмотрел подозрительно, но я вбежала в квартиру Ров и решила, что, если и здесь будет неудача, оставлю извозчику вещи, а сама скроюсь. Но здесь мне повезло. Мария Михайловна была дома. Когда я назвала себя, она ахнула от неожиданности.

— Раньше всего уплатите извозчику, а потом дайте мне поесть, я уже двое суток ничего не ела,—сказала я ей.

Наконец я вздохнула свободно. В Иркутске я прожила недолго: Мария Михайловна Ров, дав мне немного денег, отправила меня на станцию Снежную к своему брату. Он жил на небольшом хуторке из 5—6 дворов. Скука была смертная, кругом бесконечная тайга. Пожила я там одну неделю, больше не могла выдержать. Вернулась в Иркутск. Там меня ждал товарищ из Верхнеудинска с деньгами. Оказалось, что меня встречали на вокзале, но почему-то не нашли. Товарищ поехал в Иркутск и тут совершенно случайно узнал, что я обретаюсь у Марии Михайловны.

Глава девятая

БЕГСТВО ЗА ГРАНИЦУ

Я долго думала: ехать ли за границу или работать в России. Поехала в Мысовск, решила посоветоваться с товарищами на эту тему. Там были депутаты II государственной думы — Серов, Миронов и Малецкий. Было решено, что еду за границу. Здоровье никуда не годилось, нервы расшатались, в таком состоянии нельзя было думать о нелегальной работе.

Ученики Серова взяли мне билет до Киева, и я уехала. В вагоне я держалась все время в тени. На вопрос соседей по вагону, куда я еду и зачем, я говорила, что получила телеграмму от моей матери, что она заболела, лежит в Киеве в клинике, где ей предстоит серьезная операция. Была очень грустна, говоря, что мне пришлось оставить своих детей, так как по паспорту у меня их было двое.

Мне очень сочувствовали. Я так подружилась с одной дамой, что, когда мы проезжали через Урал и там по вагонам продавали всякие вещицы, она купила крестик, надела его мне и поцеловала.

Самым опасным местом был Челябинск, где кишмя кишели шпионы, но и здесь все прошло благополучно.

Из Киева я решила добраться до Гомеля, где тогда жили мои родители. Денег у меня было в обрез, и я решила ехать до Гомеля пароходом. Мне не повезло: парохода на Гомель в тот день не было. Нужно было ждать сутки, а мне оставаться в Киеве было опасно. Я сидела в киевской тюрьме два раза, и шпики меня хорошо знали. Я нашла выход: шел пароход до местечка Лоева, недалеко от Гомеля, и я решила на нем поехать.

В помещении пристани я стала обдумывать, как доехать домой. У меня был только адрес моих родителей. А вдруг провалюсь? Гомельской полиции и жандармерии уже наверно известно, что я бежала из Сибири. За домом родителей могут следить, и вообще их дом был далеко не благонадежен, так как братья мои тоже сидели по тюрьмам.

На пристани толклось много еврейской молодежи. Я почувствовала в них бундовскую публику.

Попробовала заговорить с этими ребятами на отвлеченные темы, — они живо отвечали. Рискнула на большее. Обращаюсь к одному парню:

— Вот что, если можете, уделите мне несколько минут, мне нужно поговорить конфиденциально.

Он согласился. Мы пошли с ним на пристань.

— Вы бундовец?

Он не ответил, пристально посмотрел на меня.

— Я спрашиваю не из простого любопытства, у меня к вам серьезное дело, и только крайность заставляет с вами так говорить.

— Скажите, что вам надо — спросил он, — тогда я отвечу на ваш первый вопрос.

— Я нелегальная,—заявила я,—еду в Гомель. Мне надо скрыться на два дня, пока кто-нибудь из вас поедет в Гомель к моим родителям и возьмет для меня деньги.

Он выслушал внимательно.

— Хорошо, я все сделаю, скажите адрес ваших родителей.

Когда я ему назвала фамилию, он буквально подскочил:

— Да ведь я вас знаю, хотя никогда не видал, ведь вы были приговорены к смертной казни, а затем отбывали каторгу в Сибири? Вы во мне не ошиблись, я действительно член местной организации Бунда.

Мы вернулись на пристань, как гуляющая парочка. Подошел его товарищ, и мы скоро разговаривали как старые знакомые.

Повезли меня в какую-то квартиру. Хозяйка квартиры содержала аптекарский магазин. Ее не посвятили в подробности, она была только сочувствующая. Здесь я умылась, переоделась, поела и отдохнула до вечера. Вечером товарищи взяли лодку и перевезли меня на другой берег Сожа, на дачу к своей знакомой. Эта знакомая когда-то была активной бундовкой, но в настоящее время она болела, притом имела двух детей и уже никакого участия в революционном движении не принимала, но была своим человеком. Оставив меня на даче, товарищи получили подробные инструкции, как быть в дальнейшем.

На второй день один из них должен был поехать в Гомель, но не явиться на квартиру к родным, а встретиться с моим братом Абрамом, который был членом местной организации социалдемократов-большевиков, и его просить все устроить. Второй же товарищ должен был

наблюдать за дачей. Я переночевала благополучно. Утром, сидя у окна, я вдруг услыхала голос, зовущий хозяина. Взглянула и обомлела: под окном стоял стражник, а вдали пристав. «Ну, — думаю, — влопалась. Все пропало!» Но делать нечего, надо пока держаться. Пристав и стражник вошли в комнату и потребовали, чтобы все предъявили документы.

Оказалось, что дача находится вне черты оседлости, следовательно евреям жить было нельзя. Моей хозяйке предложили в двадцать четыре часа выехать. Осмотрев мой документ на имя жены чиновника, пристав расшаркался, извинился за беспокойство и даже любезно предложил порекомендовать дачу получше.

Товарищ из Лоева, к счастью, явился сразу после пристава, и я немедленно уехала в город. Там меня поместили на прежней квартире. Хозяйка квартиры не побоялась оставить меня у себя. Такие отношения между людьми могли быть только в черте оседлости, где евреев-предателей почти не было.

На второй день мне привезли из города явки, пароль и деньги. Я уехала.

В Гомеле, конечно, тоже был целый ряд приключений с квартирами, с подозрительными людьми. В особенности всполошил меня один случай. Я жила на очень надежной квартире, хозяева которой уехали, оставив квартиру одной своей знакомой. Эта знакомая оказалась приятельницей моей сестры Соней Хаиной, социал-демократкой. Мой восемнадцатилетний брат Абрам, желая скорей сделать для меня все, что только возможно, переусердствовал: сообщил одному товарищу Владимиру, которого я совсем не знала, что его сестра, беглая каторжанка, находится здесь в Гомеле. О том, что я в Гомеле, знали только три человека. Даже родные редко являлись ко мне на свидание, а тут вдруг, в шесть часов утра, раздается звонок. Я вскакиваю, открываю дверь. Какой-то незнакомый человек спрашивает каких-то людей, которые никогда и не жили здесь. Мне это показалось очень подозрительным, и я в тот же день

перешла на другую квартиру. Отца моего тогда не было в городе, ко мне приходили только мать, сестра и брат Абрам. Младшего, одиннадцатилетнего братишку Мишку ко мне не пускали, боясь, что он разболтает, и только накануне моего отъезда за границу его привели попрощаться, конечно, предварительно подготовив его к этому. Он горько рыдал, обвиняя родных, что они ему не дали возможности до сих пор меня видеть, что он никогда ничего никому не сказал бы.

В Гомеле я прожила в общем шесть недель.

Границу я решила для безопасности перейти легально, с губернаторским паспортом. Мне предстояло уехать, не повидавшись с отцом, тяжела была мысль, что, возможно, мы больше не увидимся. Пригласили парикмахера, который преобразил мою голову, знакомая студентка Брандина накрасила мне щеки, губы, подвела глаза, купила консервные очки. Выпроводили меня на вокзал.

Билет был взят второго класса, я ехала как богатая путешественница. Та же Брандина преподнесла мне громаднейший букет роз. Последнее близкое лицо, которое я увидела через окно вагона, был мой брат Абрам. Родные меня, конечно, не провожали, но, волнуясь за меня, братишка не выдержал, пошел на вокзал, чтобы хоть издали наблюдать за мной.

Я взяла билет в Варшаву, а оттуда через Вену в Женеву. Уже Россия позади, а мне все казалось, что вот-вот жандармы меня арестуют. Мне казалось, что они смеются надо мной, шутят, что сейчас меня схватят, опять посадят в тюрьму и за побег из Сибири дадут три-четыре года каторги.

Но я скоро очутилась за пределами России, недосягаемой уже для русской жандармерии и для царских тюрем.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5
Автобиография 7

По этапам и тюрьмам

Глава первая. Арест.—Одесская тюрьма.— Приговор . . . 23
„ вторая. В дороге.—Побег Жадановского 38
„ третья. Смоленская тюрьма 41
„ четвертая. Бутырская тюрьма 49
„ пятая. По дороге в Сибирь 58
„ шестая. Как жила мальцевская тюрьма 73
„ седьмая. Акатуйская каторга 80
„ восьмая. На поселение 91
„ девятая. Бегство за границу 91

75 коп.

38654